

ЛЕВ
ПРЫГУНОВ



СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ
ЧУДАКОВ
и др.



Филологический нон-фикшн

Лев Прыгунов

Сергей Иванович Чудаков и др.

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Прыгунов Л. Г.

Сергей Иванович Чудаков и др. / Л. Г. Прыгунов — «Эксмо»,
2018 — (Филологический нон-фикшн)

ISBN 978-5-04-090823-3

Сергей Чудаков – легендарная личность шестидесятых-семидесятых годов, «русский Франсуа Вийон», которому Бродский посвятил одно из самых своих пронзительных стихотворений. Гениальный поэт, книгочел, авантюрист, мелкий воришка, сутенер – все уместилось в этом человеке. Но книга Льва Прыгунова посвящена не столько этому «местных труб проходимцу и дыма, понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке», сколько дружбе Льва Прыгунова с Иосифом Бродским, Львом Лосевым, Владимиром Уфляндом, Михаилом Ереминым, Романом Капланом и многими-многими другими... Перед нами предстают портреты друзей, портрет времени – жестокого и наивного, трагичного и смешного, огромного и мимолетного.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-04-090823-3

© Прыгунов Л. Г., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Предисловие	6
I	8
II	18
III	22
IV	33
V	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Лев Прыгунов

Сергей Иванович Чудаков и др

*Автор выражает признательность своему другу Геннадию
Калашникову, благодаря которому появилось на свет это издание.*

© Прыгунов Л., текст, 2018

© Киноконцерн «Мосфильм», кадр из фильма, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

* * *

Предисловие

Несколько лет назад Евгений Рейн спросил меня: «Почему бы тебе не написать книгу о Чудакове? Сейчас это весьма загадочная личность, а ты ведь его хорошо знал». С тех пор я всё время, натываясь на записки, связанные с Чудаковым, на письма, где он упоминается, на его редкие фотографии и его собственные письма, складывал всё это в отдельную папку и однажды обнаружил, что папка стала довольно объёмной. Вторым толчком к написанию этой книги было печальное известие о его смерти. Третьим, чисто техническим – знакомство с замечательным самарским предпринимателем Александром Макаровым, который вот просто так взял и подарил мне ноутбук (правда, больше года я боялся его открыть). А четвёртым и основным – выход в свет в издательстве «Культурная революция» книги стихов Сергея Чудакова «Колёр локаль», которая вызвала во мне целую бурю эмоций и воспоминаний. Ещё мне очень помогла заметка К. К. Кузьминского о Сергее Чудакове в его антологии современной русской поэзии «У ГОЛУБОЙ ЛАГУНЫ». Привожу её полностью:

«О Чудакове никто ничего не знает. Тем менее я. Куда его пришить – ума не приложу. Знали, что он циник, но это уже факт не биографии, а характера. Знали, наконец, что он печатался в «Синтаксисе». Больше ничего не знали. И на протяжении 17 лет я добавил к этому немного. Во-первых, Чудаков не возникал; с 62-го года о нём и слуху не было. Были – слухи. Похоже, что он относится к тем поэтам, что начинали в «хрущёвскую», но далеко не пошли (или – почти не пошли. Например – Уфлянд). Чудаков не пошёл никуда. Чудаков, по слухам, так и остался циником. Говорят, его стихи любит Бродский. По сообщению Лифшица, Бродский знает массу Чудакова наизусть. Но пойдёшь, спроси у Бродского!»

И ещё одно упоминание о Чудакове у Кузьминского в другом месте («Поэтическая статистика»): «О Чудакове я говорил. Загадочен и неуловим». Критик Олег Михайлов и сценарист и режиссёр Олег Осетинский называют Чудакова русским Вийоном. Мне кажется, это сходство чисто формальное – положение у Чудакова в Совдепии было безнадежнее, чем у Вийона в почти средневековой Франции, хотя и у того, и у другого был выбор. Впрочем, пусть об этом судит читатель.

У Бродского есть знаменитые стихи «На смерть друга», которые сейчас известны всем. Они были написаны, когда до Иосифа дошли слухи о смерти Чудакова, вскоре «воскресшего». Три года назад, когда я только задумал писать о Чудакове, у меня как-то сами собой получились стихи «Рождение друга», ни в коем случае не претендующие на какую-то параллель с шедевром Бродского, за исключением дихотомии: смерть – рождение. Вот они:

Он родился в тысяча девятьсот тридцать седьмом
в Магадане.

Явно чей-то перерожденец —
политический,
просто вор, или японец,
настрадавшийся от бесконечных
мотаний
по лагерям,
от пыток, обморожений и вечных бессонниц.

Сразу после расстрела на сорокаградусном морозе,
расталкивая эфирных собратьев эфирными же
локтями,
ринулся в горячую матку, как безумный Матросов,

и вцепился в свой будущий эмбрион стальными
когтями.

Так у нач. лагеря полковника НКВД Ивана
Чудакова
в тысяча девятьсот тридцать седьмом в Магадане
в лагерной больничке
произошло рождение сына – Сергея Ивановича
Чудакова —
красавца, гения и мерзавца
от жены-параноички.

В Москве Чудакова знали многие. Но по каким-то неведомым раскладам моя жизнь повернулась таким образом, что я почти шесть лет с небольшими перерывами жил в его комнате, а потом ещё общался с ним до начала 90-х, и знаю о нём не меньше, чем его единственный, пожалуй, друг – Олег Михайлов. До какой степени Чудаков был уникальной личностью – и в апогее, и в перигее – вы, уважаемый читатель, узнаете, прочитав мои скромные записки, охватывающие ту часть его жизни, которая попала в поле моего зрения и слуха. И ещё – до сих пор никто не публиковал его фотографий, кроме единственной – откуда-то или из паспорта, или со студенческого билета середины 50-х годов – на титульном листе машинописного сборника его стихов, воспроизведённого в книге «Колёр локаль». А все известные люди, упомянутые Кузьминским, – и Уфлянд, и Лифшиц, и Бродский – являются персонажами моей книги «Сергей Иванович Чудаков и др.» именно под рубрикой «др.», как и все остальные, в том числе и ваш покорный слуга.

*Лев Прыгунов.
3 мая 2010 г.*

Моим друзьям посвящается

Книга есть кубический кусок горячей,
дымящейся совести – и больше ничего.

Б. Л. Пастернак

I

В 1962 году в Москве было всего три места, где можно было ночью выпить кофе или коньяк, посидеть, покурить и поболтать со старыми или новыми знакомыми. Это были: кафе в холле гостиницы «Москва», работавшее до двух часов ночи (обычно туда переходили из кафе «Националь», которое закрывалось в 12 часов), валютная «чайная» в гостинице «Метрополь» (но туда ты мог попасть только с иностранцами и ни в коем случае не должен был отходить от них ни на шаг, иначе был громадный риск угодить в лапы гэбистов-комсомольцев) и, наконец, барная стойка с десятком столиков в холле гостиницы «Украина», где можно было сидеть аж до четырёх часов утра! Там тоже были проблемы с гэбистами, но со временем мы как-то «притёрлись» друг к другу, и «своих» они трогали только в случаях «контакта» с иностранцами.

Серёжу Чудакова я впервые увидел весной 1962 года в гостинице «Москва» – это было днём – и как бы сфотографировал в своём мозгу навсегда – таким ярким и неожиданным было его появление.

«Он был как выпад на рапире...» – писал Пастернак о Ленине, и я всегда вспоминал именно то первое «явление Чудакова», когда наткнулся на эту строчку Пастернака. Невысокого роста, стремительный, нечёсанный, невымытый, в какой-то зелёной засаленной куртке, в стоптанных башмаках, с пачкой книг в левой руке, он быстро прошёл между столиками, цепко вглядываясь в лица и фигуры девиц и приветствуя знакомых небрежным, почти гитлеровским выбросом правой кисти, затем нагло заказал себе кофе без очереди, лениво огрызаясь на реплики возмущённых граждан, вял кофе, нашёл свободное место недалеко от меня, положил книги на пол, налил кофе в блюдечко и, читая какую-то из книг, громко, на всё кафе, стал прихлёбывать из этого блюдечка кофе! Выпив кофе и пролистав ещё пару журналов, он несколько недоумённо и рассеянно оглядел сидящих в кафе и так же стремительно исчез.

В этом же году у меня начались неприятности – закончилась ленинградская прописка, и, хотя я снимался на киностудии «Мосфильм» (причём в главной роли) в фильме «Утреннее письмо», я не мог жить ни в одной из московских гостиниц. Группа «подселяла» меня то к шофёру, то к костюмерше, то к ассистентке по реквизиту. Это было неудобно, противно и очень обременительно – я должен был приходить домой не позже 10–11 часов, а именно в это время для молодого, подающего надежды актёра в Москве начиналась «настоящая» жизнь. К осени 1962 года у меня полностью завершились съёмки, и я уже не мог жить даже у шофёра. Моя зарплата во время съёмок была около ста тридцати рублей в месяц, и на эти деньги было невозможно снимать квартиру или даже комнату и при этом питаться и более или менее прилично одеваться. Какое-то время мы с моим товарищем художником Мишей Николадзе снимали комнату за ВДНХ, какое-то время я жил у своего друга Стаса Шлюгера в Измайлове, но в начале зимы всё «обвалилось» – Миша уехал в Тбилиси, от Стаса я съехал (в двух комнатах там жили пять человек), деньги кончались, работы не было, но уехать из Москвы я уже не мог – я понимал, что только здесь могла состояться моя будущая актёрская жизнь.

И я выходил из этого почти безвыходного положения таким образом: до четырёх утра я сидел в кафе гостиницы «Украина», потом шёл пешком до Киевского вокзала. Там, где-нибудь прикорнув, спал до шести, потом спускался в метро и, сев в конце вагона, ездил по кольцевой до одиннадцати часов дня – как ни странно, успевая выспаться, – а уж потом шёл в «Националь», где просиживал весь день, попивая кофе и беседуя с замечательными людьми. Когда наступили морозы и я промерзал до костей на холодном Киевском вокзале, я шёл в ближайшую баню, закупал на два-три часа так называемый «номер» – отдельную ванную комнату, – пускал тёплую воду и спал, пока меня не будили банщики. Как ни странно, в тёплой воде я высыпался даже лучше, чем в метро.

Была только одна польза от такой бездомной жизни – если я не высыпался и чувствовал себя отвратительно, я шёл досыпать в Ленинскую библиотеку в замечательный третий зал, куда чудом оформил билет. Я набирал штук десять книг, раскладывал их вокруг себя и, положив голову на локти, спал час или полтора, но потом, увлечшись какой-нибудь из книг, прочитывал её до конца. Так у меня развилась потребность спать-читать или читать-спать в «Ленинке», и благодаря этому я прочитал там довольно много книг: «Ригведу», «Атхарваведу», «Упанишад», почти всего Ницше, скандинавскую драматургию, Акутагаву и многих других японцев, в том числе мою любимую драму театра «Но» «Копьеносец Гондза». В то время повсюду снимался фильм «Война и мир», в этот же третий зал часто приходил «работать над ролью» Вячеслав Тихонов, и девочки-библиотекарши восхищённо говорили про нас – вот два самых интеллектуальных актёра!

Однажды в конце ноября 1962 года часа в два ночи, когда я сидел за крайним столиком у стены почти в пустом кафе гостиницы «Украина», в холл вошла шумная компания и уселась прямо у барной стойки – нас разделяли несколько пустых столиков. В этой компании была единственная девушка – эффектная и живая. Я её где-то уже встречал. Она показала своим парням на меня, все повернулись и стали меня разглядывать. И как раз в это время к барной стойке стремительно («как выпад на рапире») подошёл Чудаков и, перебрасываясь репликами с компанией молодых людей, – девушку он явно хорошо знал, – заказал себе кофе. Вдруг он повернулся в мою сторону, мы переглянулись, он осклабился и, взяв чашку, направился в мою сторону. Сел за соседний столик, достал лист бумаги и, ухмыляясь, стал меня рисовать. Я включился в игру и показал ему несколько ракурсов. Он выбрал профиль, показав большой палец, и через две минуты рисунок был готов. Он подал мне листок, на котором внизу были написаны телефон и имя девушки. Рисунок был очень смешной, но энергичный и весьма конструктивно «слеплен». «Обязательно позвоните по этому телефону – не пожалеете!» – приписал он.

Он подсел ко мне за столик, и я был мгновенно очарован его шутками, над которыми сам он смеялся взахлёб. Я разглядывал его, не скрывая любопытства. Он был очень красив – чем-то напоминал Алена Делона из «Plein Soleil» («На ярком солнце»), но одежда на нём была чудовищная, и было такое ощущение, что он сто лет не умывался. Он прекрасно знал кино – восторженно и явно преувеличенно стал хвалить мой первый фильм «Увольнение на берег», которого я тогда стыдился, знал режиссёров фильма «Утренние поезда», а когда он услышал, что я из Ленинграда, заявил: «Я знаю трёх великих ленинградских актёров. Первый – Смоктуновский! Он сейчас в Москве, но мы вам его не отдадим! Второй – Юрский! И третий... – Тут он выдержал паузу и, ткнув в меня пальцем, выпалил: – Третий – вы!» Я хохотал до слёз – так он меня рассмешил. Он смеялся, повизгивая и похрюкивая, и вдруг спросил: «А где вы живёте?» И когда я ответил, что жить мне негде и что через два часа я пойду на Киевский вокзал, он почти закричал, впервые и навсегда назвав меня замечательным французским словом: «Шери! Так идёте ко мне – у меня пустая комната совсем недалеко отсюда!»

Так я попал в уникальную комнату Чудакова на Кутузовском проспекте, в коммунальной квартире на четвёртом этаже, в старом доме тридцатых годов – почти напротив дома, где тогда жил Брежнев.

Вот точный адрес: Кутузовский проспект, д. 33. Квартира была с большим коридором и пятью-шестью комнатами, в которых жили разные семьи. Серёжу лютой ненавистью ненавидела вся квартира, а вместе с ним и каждого его гостя. Главной в квартире была тётя Шура – крепкая тётка с зычным голосом, отменно ругавшая Серёжу матом. Десятки раз соседи вызывали по разным поводам милицию, но потом смирились: отец у Серёжи был отставной полковник КГБ, живший на окраине Москвы в однокомнатной квартире, мать болела паранойей, да и сам Сергей был на учёте в психдиспансере.

Первое, что валило с ног любого посетителя, – невероятно затхлый и пыльный воздух. Сергей не любил проветривать комнату, а большое окно день и ночь было закрыто толстенными

и тяжеленными шторами, похожими на старые, грязные ковры. На полу виднелись «тропинки», протёртые ногами до светлого паркета через толстый слой грязи. Все одеяла, простыни, полотенца и его собственный дырявый халат бывшего красного цвета с крапачными широкими полосками никогда в жизни не стирались и издавали непереносимый запах. Позже, лет через десять, он напишет в своих стихах:

Он мечтал, что будет он богат,
И услышит славы смутный гул
Старенький и голый он халат
На груди цыплячьей запахнул...¹

И я на все сто процентов уверен, что речь идёт о том самом грязно-буром дырявом халате и его, Сергея, «цыплячьей» груди.

Итак – комната. В середине – дубовый обеденный стол, слева в дальнем углу (если смотреть от входной двери) в небольшом углублении стояла тахта, а стена комнаты возле неё была разрисована «с натуры» веером женских ног – все девицы, которые у него бывали, с удовольствием подставляли свои голые ноги под его карандаш.

Справа у стены стоял диван, а между диваном и столом большое раздвижное кресло, в котором всегда потом спал Миша Ерёмин, и старая, покрашенная в синий цвет табуретка. Вот, собственно, и всё.

Но в ту мою первую ночь у Чудакова самое страшное ожидало меня через час после прихода «домой». Только я заснул, не раздеваясь, на диване, как с содроганием проснулся, почувствовав, как по мне кто-то ползает и кусает меня. Я вскочил и понял, что это КЛОПЫ!!! Мне пришлось раздеться и стряхивать с себя и со своей одежды этих омерзительных насекомых. Я кое-как досидел на табурете до утра, ожидая, когда проснётся Чудаков. Я решил сразу же купить дезинсекталь и обработать всё вокруг. Потом в своих стихах он «отразит» и эту часть своей реальности:

Изобретатель радио Попов,
Его усовершенствовал Маркони.
Наташей накормив своих клопов,
Я зря висел на вашем телефоне...

Или вот это:

Уже доказано, и больше нет сомнений
Гербы и родина средь родов и гробов
Маркиз в своём поместье охотясь на оленей
Бедняк в своей каморке охотясь на клопов...

Утром Серёжа дал мне ключ, и мы разошлись по своим делам. За день я раздобыл чистые простыни, полотенце, купил клопиный яд и вечером, когда стал обрабатывать дезинсектальем «свой» диван, пришёл Сергей.

Я хотел обработать и его лежанку, но он заявил, что ЕГО клопы не кусают! Этой ночью я впервые за несколько недель выспался в тепле и чистоте.

В те годы у антисоветской молодёжи, к которой я уже тогда примыкал на сто процентов, была навязчивая идея в каждом встречном видеть стукача (не без основания, конечно). А тут

¹ Стихи С. Чудакова печатаются в авторской редакции с сохранением орфографии и пунктуации автора.

как бы и сомнений не могло быть: и сам пригласил, и сам провоцирует на антисоветчину, и папа гэбист, и живёт в такой срани, а его не трогают, и т. д. и т. п.

И мы играли в эту игру довольно долго. Я каждый день спрашивал, сколько человек он сегодня заложил, а он охотно фантазировал и развивал эту тему, причём обо всём говорил легко, смешно и абсолютно непередаваемо. Он фонтанировал острыми шутками, невероятными историями, включая и свои собственные, или цитатами, вычитанными из каких-то нелепых книг – по медицине, политике или всяческих справочников. На третий день, когда он уже проснулся, я снял с его голого плеча громадного, раздувшегося от ЕГО крови клопа и тут же показал ему.

Он пришёл в восторг, как ребёнок, и сказал, что устроит клопу жестокую казнь – аутодафе. Чиркнув спичкой, он прижёт клопа пламенем, и клоп «приварился» к спичке. Серёжа открыл штору, и я ахнул – в щели подоконника было воткнуто на спичках несколько десятков подобных мини-скульптур – довольно мрачноватая инсталляция.

При всей его пока ещё вялотекущей шизофрении нервы у него были на зависть здоровыми. Он мгновенно засыпал и, не меняя за всю ночь позы, спал семь-восемь часов; а утром, довольно рано, часов в восемь-девять, так же мгновенно просыпался. Намного позже я всё-таки убедил его, что для клопов он такой же лакомый кусочек, как любой из нас, и он решил поставить с моей помощью свою тахту на дубовый стол. «У меня одно время была блестящая идея в стиле Франкенштейна, – объяснил он своё согласие на эту акцию, – купить гроб, поставить его на стол и в этом гробу спать с девочками!» – «Господь с тобой!» – ахнул я. «Э-э, не скажи – есть девицы, которые были бы от этого в диком восторге! А сейчас моя идея осуществлена хотя бы наполовину!» И он хохотал в своей манере, повизгивая от удовольствия. В итоге его тахта вместе со всеми клопами в ней довольно долго – во всяком случае, до лета 1963 года – стояла на дубовом столе. Он влезал сначала на стол, а потом ложился на тахту и спал, упираясь коленями в громадный, оранжево-пыльный довоенный абажур с грязными кистями, и клопы продолжали успешно сосать его кровь. А Серёжа даже занимался на этой пирамиде любовью. А уж как он отправлял туда своих девиц, – одному дьяволу известно.

Через три дня я робко предложил Сергею устроить в его комнате генеральную уборку: выкинуть весь хлам, отскрести с пола всю грязь, избавиться от вековой пыли и т. д. «Ни в коем случае!» – «Но почему?» – «У меня здесь свой порядок – рукописи, черновики, стихи, телефонные номера, и только я знаю, где что находится. Ни в коем случае!»

Рукописи, книги и черновики на самом деле были разбросаны по всему полу, и я подумал, что мы пока ещё слишком мало знакомы, чтобы я мог на чём-то настаивать, хотя, видит Бог, жить в этой «авгиевой конюшне» было почти невозможно.

На седьмой или восьмой день он вдруг заявил: «Шери, тебе придётся от меня съехать – ко мне приезжают два гениальных поэта из Ленинграда – Ерёмин и Виноградов! Но ты не волнуйся, я обязательно тебя куда-нибудь пристрою!»

Я отказался от его помощи и совершенно искренне поблагодарил его: всё-таки я целую неделю прожил в тепле, да ещё в компании с самым остроумным и эрудированным человеком, которого я когда-либо встречал в своей жизни. И у меня опять начались неприкайные ночи.

Дней через десять мы встретились с ним в «Национале», и он радостно завопил на весь зал: «Шери! Куда ты пропал? Почему не появляешься? Почему ты не у меня?» – «Но у тебя же два гениальных поэта», – ответил я. Он сморщился: «Эти два калеки? Если бы ты знал, как они мне надоели! Я их завтра же вышвырну! Сегодня обязательно приходи!»

Позже гениальные поэты рассказали мне, как всё было. Чудаков встретил Мишу Ерёмина и Лёню Виноградова в Доме кино, где они учились на сценарных курсах, и предложил им жить у него. «Но у тебя ведь живёт какой-то актёр», – ответил Виноградов. «А, этот вшивый актёришка! Да я его завтра же вышвырну!» Гениальных поэтов Чудаков не вышвырнул, и я в этот же вечер появился в комнате Чудакова, где его самого ещё не было, а на диване сидели

два мрачных человека: Ерёмин с палкой (года два назад он сломал ногу, когда решил сбегать за водкой и выпрыгнул из окна второго этажа) и Виноградов, как мне показалось, с красной шёлковой лентой на лбу.

Всего одна неделя жизни у Чудакова дала мне очень много: я впервые прочитал все написанные к тому времени стихи Бродского, Ерёмина, Уфлянда и пару самиздатовских журналов «Синтаксис», составителями которых были Алик Гинзбург и Чудаков, со стихами самого Чудакова. От всего прочитанного я был в необыкновенном восторге, особенно от стихов Бродского и Ерёмина. В эту же неделю я познакомился с Аликом Гинзбургом, который, отсидев два года за «подделку документов» (об этом позже), – в ту пору работал в Ногинском театре то ли завлитом, то ли режиссёром и заскочил на пару часов к Чудакову как раз тогда, когда я был «дома». Чудаков с первого же дня стал подтрунивать над моей необразованностью и моей привычкой читать и знакомиться с книгами «в азиатской манере» – справа налево, а я в ответ на его шутки без стеснения спрашивал его обо всём, чего не знал, и его потешали и моё невежество, и моя неуёмная жажда знаний. Алику Гинзбургу он показывал меня как ручную говорящую обезьянку, но – удивительно! – Алик не присоединялся к чудаковским издевательствам надо мной и поглядывал на меня очень внимательно и доброжелательно. Позже он часто приглашал меня на свои революционные сборища, и я даже несколько раз ночевал в его квартире, беседуя на кухне до поздней ночи с его матерью Людмилой Ильиничной – бесстрашной, умной, острой, удивительной женщиной. А однажды, году в 1965-м, я даже устроил на ночёвку к Алику Гинзбургу моих алма-атинских друзей – Людмилу Мамцову и Володю Марковича.

Так что, когда я вошёл и увидел перед собой по-настоящему гениального Ерёмина, я несколько оробел и не сразу заметил поразительные изменения в комнате – она сияла чистотой! Я оглядел комнату и с недоумением спросил: «А как же... рукописи и черновики?» Ерёмин ткнул палкой в угол у входной двери: «Мы ему устроили «интеллектуальный» уголок». В углу на самом деле в аккуратную кучу были свалены все книги и рукописи. Куча оказалась приличной.

Сергей пришёл очень поздно, возбуждённый и радостный, и сразу распределил нас по местам: «Миша спит на раскладном кресле, Лёня – на диване, а тебе, шер, придётся спать на полу!»

Пол, слава Богу, теперь был чистый, и я устроился на своём пальто у дивана прямо под Виноградовым, предварительно «пшикнув» вокруг себя дезинсектаем.

На следующее утро Чудаков, как обычно, встал рано и почему-то не стал гнать нас на улицу – у ребят занятия начинались позже. Мы остались втроём, и в самое первое утро нашего знакомства я дважды оконфузился, из-за моего алма-атинского простодушия. При дневном свете шёлковая лента на виноградовском лбу сияла ещё ярче, чем вчера вечером, и я спросил: «А зачем это вам?» Виноградов не понял и переспросил: «Что?» – «Да вот эта лента!» Виноградов вспыхнул, весь покраснел и, не сдерживая ярость, заорал на меня: «Это не лента, это – ПСОРИАЗ!» Я не знал тогда, что такое псориаз, но понял, что это болезнь, и кое-как извинился. А Миша Ерёмин чуть ли не сразу, как всегда мрачно, но вежливо попросил меня сходить на улицу и купить ему сигарет. Тут уже вспыхнул я: «А чего это я буду бегать за вашими сигаретами?» В комнате повисла пауза, и уже с нескрываемой ненавистью Виноградов прошипел: «Я опаздываю на курсы, а у Миши больная нога». Тут уже я покраснел, извинился и, взяв у Ерёмина деньги, пошёл за сигаретами.

«Открыл» Чудакова для поэтического Ленинграда Миша Ерёмин.

В 1956 году он плыл на теплоходе «Украина» из Ялты в Новороссийск, сидел на палубе и читал Шкловского. «Книжка была то ли без обложки, то ли в бумажной корочке, – рассказал мне Ерёмин совсем недавно. – Правда, по версии Лосева, я плыл по Азовскому морю и читал Асеева. Бог его знает, может, насчёт книжки он прав, но мне всё-таки помнится, что это был Шкловский. Но точно – не Асеев!» К нему подошёл совсем юный Чудаков, и они разговари-

лись. Потом Ерёмин пригласил его в Ленинград, и какое-то время Чудаков жил у Володи Герасимова в коммуналке, где у Герасимовых было две комнаты – в одной жил Володя, а в другой его мама. Мама переехала на эти дни к каким-то родственникам, а на третий день Чудаков, по словам Володи, привёл в дом очень известную в Ленинграде шлюху. Соседи тут же настучали матери, и она выставила Чудакова вместе с его дамой. Как её звали, Володя не помнит, хотя память у него необыкновенная.

Летом 1959 года Миша Ерёмин, Володя Герасимов и Володя Уфлянд приехали в Москву по приглашению Чудакова. Серёжа принял их очень хорошо, но то ли в этот день приехал его отец, то ли из психбольницы на время была выпущена Серёжина мать, но Серёжа вышел из положения: он дал ребятам по подушке и по одеялу и проводил их до выхода из метро «Кутузовская». Тогда там был небольшой сквер и стояло несколько скамеек, на которых они и заночевали. Уфлянд и Герасимов даже сняли туфли и аккуратно поставили их возле скамеек на газеты. Когда метро открылось, они ещё спали, и советские трудящиеся с недоумением поглядывали на эту идиллическую картину.

Тут же вспоминаются стихи двадцатилетнего Уфлянда (1957 год):

То на заводы
Мастера труда
шагали бесконечной лентой.
Шли торопясь они туда —
в Союзе начиналась пятилетка.
Но как ни торопились,
обогнав,
оглядывались вежливо...

У древних китайцев есть поговорка: «Подобное притягивается подобным». Виноградов, Ерёмин и Уфлянд почти четыре года учились в одном классе. В пятом номере «Литературного обозрения» за 1997 год напечатана статья Уфлянда «Пятидесятный шестидесятник», где он описал одну из уникальнейших «проделок» студентов-филологов ЛГУ, которые позже стали нашими друзьями: «Зимой я увидел на промерзшей стене дома «Комсомольскую правду» с заголовком «Трое с гусиными перьями». Три студента ЛГУ: Миша Красильников, ныне рижанин, Юра Михайлов, уже покойный, и Сокольников... Сокольниковым, по привычке врать, «Комсомолка» назвала Эдика Кондратова, будущего собкора «Известий», старшего брата универсальнейшего поэта наших дней, умершего в 93-м Саша Кондратова. 1 декабря 52-го (!) года они пришли на лекцию по русской литературе в рубахах навыпуск и сапогах. Записывали лекцию гусиными перьями, макая в чернильницы у пояса. В перерыв накрошили в деревянные миски хлеба и луку, залили квасом. Стали хлебать деревянными ложками, распевая «Лучинушку».

Комсомольская газета была в злобе и ужасе. Я сопоставил филфаковский хеппенинг с арестом врачей-евреев и кампанией против космополитов. Понял, что комсомольцы раскусили в этом русофильском действе красивую издёвку над последними сталинскими затеями.

Через два года я познакомился с героями статейки. Они не угодили в лагерь. Вероятно, потому, что Сталин дал дуба... В университете учился Миша Ерёмин на филфаке и Лёня Виноградов на юрфаке. Я познакомился со студентами отделения журналистики Серёжей Кулле, уже покойным, Лёшей Лосевым, тогда ещё Лифшицем, Сашей Шарымовым, Володей Герасимовым и другими. В университет захаживали горняки: Яша Гордин, Андрей Битов и другие... Бывали и технологи: Женя Рейн, Дима Бобышев, Толя Найман».

Вот так, собственно, и образовалась «Филологическая школа» – некое подобие растянувшейся в пространстве и времени реинкарнации «лицейских», с которой сходились и рас-

ходились, сталкивались и взрывались, точно звёзды, планеты и астероиды, Бродский, Кушнер, Горбовский, Соснора и другие. Конечно, если предположить, что ленинградская группа поэтов и литераторов на самом деле была реинкарнацией лицеистов (в этой компании были и свой Пушкин, и свой Баратынский, и Вяземский, и Дельвиг, и Кюхельбекер), то – покажи настоящим лицеистам их будущее через сто пятьдесят лет, они бы наверняка пришли в ужас от того, во что они превратились! Но – отбросив всё внешнее и советское – нищету, пьянство, неустроенность и т. п., – и присмотревшись к сути, то есть к уму и таланту, они бы вздохнули с облегчением – молодцы, ребята, не подвели!

Но вернёмся в комнату Чудакова зимы 1962 года. Я проспал на полу «под Виноградовым» совсем недолго – Виноградов сразу же стал чем-то раздражать Чудакова. На четвёртый день нашей общей жизни Серёжа перед самым сном вдруг заявил: «Так. С сегодняшнего дня Лев спит на диване, а Виноградов на полу!» Спорить с ним было невозможно, да мне не очень-то и хотелось, и мы поменялись с Лёней местами. Так в нашей незамысловатой иерархии я поднялся с последней ступени на предпоследнюю.

Мы же, в свою очередь, стали потихоньку сближаться – нас объединила тирания Сергея Ивановича, как звали Чудакова Ерёмин и Виноградов. Сергей Иванович категорически требовал, чтобы мы не ложились спать и ждали его прихода хоть до утра. Все мы за день порядочно уставали и к вечеру, сидя за столом, клевали носом. Когда же приходил Чудаков – всегда возбуждённый, сияющий, с блистательными шутками, артистическими жестами, новыми цитатами, вычитанными бог знает откуда, – мы «просыпались» и какое-то время полностью разделяли его веселье. Но – как только он выпивал из блюдечка свой ночной чай, он мгновенно, причём каждый раз неожиданно, объявлял: «А теперь спать! Немедленно! Считаю до трёх и выключаю свет!» И на самом деле считал до трёх, выключал свет и ложился. И не дай Бог кому-нибудь из нас поспорить, попросить, воспротивиться, что-то пробормотать или просто громко отодвинуть табурет! Он вскакивал и начинал истерически кричать: «Ещё один звук, и я вызываю милицию!»

Милиции боялись мы все – у меня уже полгода не было никакой прописки, на Виноградова (как он говорил) было заведено в Ленинграде уголовное дело за избиение соседки, а Миша их просто ненавидел, как всё советское. И почти каждую ночь нам приходилось в гробовой тишине и темноте раскладывать свои постели.

Слава Богу, Серёжа издевался не только надо мной одним. Через две-три недели нашей общей жизни он назвал двух «великих поэтов» «Коммунистической бригадой имени Бунюэля» и был в восторге от своей шутки, которая оказалась ещё и точной по сути: Виноградов и Ерёмин всегда были соавторами (иногда вместе с Володей Уфляндом или Лёшей Лифшицем – ныне Львом Лосевым) и к тому же учились на Высших курсах сценаристов.

История, как они попали на курсы, в общем тоже замечательная. Иван Александрович Пырьев был тогда и вдохновителем идеи создания сценарных курсов, и, пожалуй, самым влиятельным человеком в советском кинематографе. Он был откровенный хам, но с хорошим чувством юмора. Ерёмин и Виноградов, договорившись с его секретаршей, вошли одновременно в его кабинет и хором проскандировали: «Иван Александрович! Наш любимый фильм – «Кубанские казаки»! Мы хотим учиться на Высших сценарных курсах!» Пырьев расхохотался и принял их на курсы. Позже, когда они съехали от Чудакова, Ерёмин пришёл к Пырьеву просить два места в общежитии. «Ишь, чего захотел!» – сказал Пырьев. А двадцатичетырёхлетний Ерёмин, который когда-то дал клятву с каждым, кто будет ему «тыкать», тут же переходит на «ты», ответил: «А тебе что, жалко?» Пырьев чуть не упал со стула от смеха, но мест в общежитии всё-таки не дал.

Эта парочка на самом деле была колоритной. Светловолосый Ерёмин, бородатый, да ещё с палкой, всегда ходил по каким-нибудь литературным делам к «русакам» – они его тут же при-

нимали как своего, а полуеврей Виноградов ходил, в свою очередь, к литературным начальникам-евреям, которые тоже ему благоволили.

А когда, наконец, мы подружились – это произошло после того, как у них на курсах был показан фильм «Утренние поезда», где я им понравился, – они в красках рассказали об их Геракловом подвиге. Как только Серёжа оставил их в комнате одних, они с самого раннего утра, вооружившись вёдрами и тряпками, к удивлению всех соседей, стали разгребать вековую чудаковскую грязь. Возились они весь день и в полном изнеможении сидели за столом до часу ночи в ожидании Чудакова.

Когда Серёжа открыл дверь и увидел отдраенный до натурального дерева паркет, чистую, ещё влажную штору и полный порядок, он остановился как вкопанный и, внимательно и изумлённо оглядев всю комнату, снял у порога туфли и молча, на цыпочках прошёл к столу. Сел напротив «Коммунистической бригады имени Бунюэля» и долго смотрел на них с искренним состраданием. Потом вздохнул и произнёс: «Мои милые, бедные навозные жуки!»

С самых первых дней нашей совместной жизни я почувствовал в Чудакове какую-то удивительную трогательность и, как ни странно, обязательность. Когда он меня «променял» на «великих ленинградских поэтов», он дал мне точный адрес, где я мог бы жить. А теперь, когда нас в комнате было уже четверо, он приходил иногда чуть раньше обычного, давал нам на троих три рубля и отправлял в гостиницу «Украина» пить кофе. «У меня дама!» – объявлял он и называл *точно* время, когда мы можем вернуться. И несколько раз мы втроём, проклиная Сергея Ивановича, ночью, в мороз тащились в буквальном смысле слова (Ерёмин был с палкой) в «Украину» и там пережидали за кофе и сигаретами те полтора-два часа, которые были отпущены нашим великодушным хозяином нам и своей даме. Возвращаться старались пунктуально – минута в минуту, и Серёжа встречал нас подобревший, весёлый и угощал недопитым вином и свежим чаем.

Так вчетвером мы жили у Серёжи примерно месяца два. Мы все были «на взводе», все (особенно я) прошли хорошую школу выживания, и наша чувствительность помогала нам до поры до времени избегать неизбежных конфликтов. А зима в тот год была просто свирепой – морозы часто доходили до 35 градусов, а Ерёмин с Виноградовым при этом ходили без шапок – принципиально! Виноградов оказался необычайно остроумным человеком (у него была определённая система юмора, которая меня всегда приводила в восторг, хотя позже я понял, что это были прелестные мозговые трюки, в отличие от взрывного, спонтанного остроумия Чудакова).

Миша Ерёмин мог молчать часами, но если он что-то говорил, то это походило на удар кувалдой или укол рапирой. На допросе в Ленинградском КГБ после того, как в «Известиях» был напечатан фельетон «Бездельники карабкаются на Парнас», где цитировалось его стихотворение: «Во мне живёт растительная мудрость, она мои меняет очертанья...», следователь ехидно спросил Ерёмина: «Это в вас живёт растительная мудрость?» На что Миша кивнул головой и с улыбкой ответил: «Да, во мне». В Ленинграде Миша жил тогда на улице Софьи Перовской, и на заявление следователя: «Нам известно, что вы всячески издевались над нашими революционерами: Халтуриным, Желябовым, Софьей Перовской...» – Ерёмин тут же ответил: «Но тогда я ещё не жил на Софье Перовской!»

Чудаков шутил непередаваемо – остро, точно и весело. Когда он узнал, что Анна Ахматова привезла Анатолию Найману из Италии замшевую куртку, он мгновенно выпалил: «Надо на спину Найману повесить мраморную доску: «Эта куртка была подарена Анной Ахматовой...» и т.д. И тот же Найман, встретив однажды Чудакова, спросил его: «Серёжа, говорят, вы очень хорошо шутите, могли бы вы это продемонстрировать прямо сейчас?» Серёжа спросил: «А что вы делаете завтра?» – «Уезжаю в Минск. Вам привезти что-нибудь оттуда?» – «О! Привезите мне МАЗ!» – ответил Серёжа и, довольный, захрюкал.

Найман, впрочем, тоже был одним из самых остроумных людей. Намного позже, после премьеры фильма Тарковского «Андрей Рублёв», который мы смотрели вместе с Виноградо-

вым, к нашему столику в ресторане старого Дома кино подошёл Толя Найман и спросил, как нам понравился фильм. Мы ему ответили что-то вроде: «Потрясающе! Мы в восторге!» Он внимательно на нас посмотрел и вежливо ответил: «Извините, ошибся столиком». Год назад эту историю рассказал мне Роман Каплан (о нём ниже), причем так, будто всё это произошло с ним самим, но это простительно – он, вероятно, так часто рассказывал её у себя в Америке, что совсем забыл, откуда эта история родом.

А Серёжа Чудаков... Иногда, увидев какую-нибудь весьма эффектную девицу, он начал её преследовать, но вдруг останавливался и пренебрежительно бросал: «Нет, она – Мересеев!» – «Что значит Мересеев?» – спрашивал я. «У неё нет ног!» Шутка, самая похожая на чудаковскую, есть у Пушкина в «Моцарте и Сальери», когда Сальери говорит: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь: я знаю, я». Моцарт: «Ба! Право? Может быть... Но божество моё проголодалось». И вообще, со временем приглядываясь к нему, я находил в нём всё больше и больше пушкинского – и как он читал стихи, и некоторые из его стихов, и как он обхаживал девиц (правда, каких! – в основном абитуриенток и девочек из пригорода), и как он рисовал на своих черновиках (кстати, совсем неплохо и так же ярко и точно, правда, намного смешнее).

И в конце концов я понял, что Чудаков – это какая-то чудовищная и необъяснимая помесь Пушкина и Ленина, причём кого там было больше, знает только сам Сатана. Оба они, и Ленин, и Пушкин, как известно, были непобедимыми спорщиками. Чудаков так же беспощадно, хлётко и жёстко расправлялся со своими оппонентами (правда, в отличие от Ленина никогда не скатываясь до ругани). Всегда было очень смешно наблюдать, как он высмеивал и буквально уничтожал Олега Осетинского, который насккивал на него с оскорблениями и матерщиной. Если бы Чудаков всю энергию своей похоти и витальности направил в политику, как Владимир Ульянов, он был бы, пожалуй, не менее страшен. А Ленин, оставшись адвокатом, был бы так же успешен в своей деятельности, как Сергей Иванович на поприще сутенёра. И в этом смысле Виноградов и Ерёмин очень лихо обманули советскую цензуру, написав пьесу «Защитник Ульянов», в которой молодой Ленин виртуозно и нагло «защищал» (и оправдывал!) *только* заведомых преступников!

Как и Пушкин, Чудаков был помешан на женских «ножках», только у А. С.

Перо, забывшись, не рисует
Близ неоконченных стихов
Ни женских ножек, ни голов...

У Серёжи всё было немного проще, и уже не ножки, а просто *ноги*:

Я свою холостую берлогу
Украшаю с большой простотой
На стене твою стройную ногу
Обвожу карандашной чертой.

Серёжа задира левую ногу лежавшей на его тахте голой девицы (всегда с одного и того же места) и жирным карандашом обводил эту ногу на грязных обоях стены. Я ночевал у него с перерывами в течение нескольких лет, и на моих глазах этот «веер» из ног над его ложем всё увеличивался и уплотнялся. Когда появились фломастеры, Сережа обвёл все линии ног разным цветом – получилась симпатичная цветная фреска.

Моя мама перед смертью передала мне все мои письма к ней, и в некоторых есть упоминания о Чудакове и моей жизни у него. Вот одно из них: «...Итак, я существую, я мыслю и чувствую, я впитываю, как губка, и горю, как факел, в пустом коридоре – хотел бы светить кому-то, да вот никак сам не могу выбраться из этого коридора с голыми, шершавыми стенами.

Каждый мой день наполнен как никогда. Веду бродячий образ жизни в чистом виде. Активность благодаря этому повышена до крайности. Каждый день или два расписаны по часам: во столько-то надо попасть на репетицию в «Современник», через час надо кому-то звонить и встречаться с ним в «Национале». Потом иду часа на четыре в «Ленинку» или театральную библиотеку и занимаюсь там до вечера, а вечером – или на просмотр фильма в Дом кино, или на спектакль в какой-нибудь театр. После спектакля опять в «Националь» пить кофе и беседовать с «гениями» – их там каждый второй. Потом еду «к себе домой», где, кроме меня, в комнате живут ещё три человека – Чудаков (хозяин) и два брата-ленинградца – сценаристы, поэты и драматурги Виноградов и Ерёмин. До двух часов ночи бесконечные остроты, издевательства и хохот. Потом сон с клопами, на которых уже вылиты две бутылки дезинсектанта, но безуспешно, и утром опять всё сначала. Совершенно неожиданно наш фильм «Утренние поезда» получился очень неплохим – сейчас о нём много говорят».

Чудаков со временем как-то заметно ко мне подобрел – он полностью оценил во мне жадного и восторженного зрителя и слушателя. У нас были разные дела и планы, но теперь мы очень часто выходили из дома вместе. Рядом с домом находилось грязноватое кафе, где продавали довольно крепкий кофе и вполне удобоваримые пирожки, и Сергей почти всегда приглашал меня в это кафе, где мы стоя выпивали кофе и расходились по своим делам. Я отправлялся либо в «Современник», либо в «Националь», откуда, как правило, шёл либо в Пушкинский музей напротив бассейна «Москва», либо в Ленинскую библиотеку, зная точно, что обязательно встречу там Чудакова. В отличие от меня Сергей каждый день как на работу ходил в «Ленинку» – набирал книг, читал часов до двух-трёх и одновременно «клеил» девиц. Мы с ним часто сталкивались в курилке – он, некурящий, всегда заглядывал туда в надежде подцепить там кого-нибудь. Уговаривал он девиц очень смешно: всё время безостановочно говоря, обходил свою жертву со всех сторон, не давая ей прохода, задача была для начала только одна – рассмешить и заставить слушать его дальше. Поскольку он «обрабатывал» по пять-шесть девиц, то почти каждый день он из «Ленинки» вместе со своей очередной интеллектуальной подругой отправлялся к себе на Кутузовский, там около часу занимался с ней любовью, обводил карандашом «её стройную ногу» и возвращался в третий зал Ленинской библиотеки. Очень часто он выносил оттуда на своём грязном животе какую-нибудь никем ещё не читанную и даже не разрезанную книгу или брошюрку. А вечером со всякими шутками и ухмылками разрезал эту украденную книжечку, называя свои действия «актом дефлорации томов».

II

И вот, наконец... Совсем, как у А.С., «пришла пора, – она влюбилась». В самый пик зимы в Москву из Киева приехала студентка Киевского театрального института Нонна Новосядлова и поступила (перевелась?) в училище имени Щукина. Где Чудаков с ней встретился – мне неизвестно. Но он влюбился в неё пылко и страстно. Понять его было легко: Нонна была ошеломительно красива и бесконечно сексуально-аппетитна. Много позже, когда она стала известной актрисой, красавицей, почти женщиной-вамп, у неё, пожалуй, не осталось даже десяти процентов того *sex-appeal*а, того магнита-динамита, какие у неё были в ту замечательную зиму.

Поначалу шансы у Серёжи были ничтожны прежде всего потому, что Нонна была чистюлей и жила в Москве у матери – такой же красивой, как и дочь. Поскольку я какое-то время был посредником в их отношениях (Серёжа придумал это специально, чтобы смягчить их сближение, и я оказался своего рода буфером и почтальоном), мне приходилось встречаться с Нонной не только у входа в театр «Современник» прямо на морозе или в фойе театра Вахтангова, но и пару раз бывать у нее дома. Должен сказать, что мама Нонны, думая, что я – ухажёр её дочки, очень ко мне благоволила, и я не знаю, догадалась ли она когда-нибудь о моей роли в этом деле и знала ли о связи её дочки-принцессы с Монстром-Чудищем. «Спасло» Чудакова (правда, лишь на некоторое время) только то, что Нонна была умна и любознательна; во всяком случае, все её последующие мужья и любовники, насколько мне известно, были интеллектуалами.

И тут встал вопрос: в чём Сергею идти на первое свидание с Нонной? Всё, что было у Чудакова, не годилось никак. Мы с Мишей тоже были одеты неважно. Но у Виноградова был почти новый чёрный свитер, который мог бы очень украсить Сергея – достаточно было надеть белую рубашку, отпарить брюки и хоть как-то начистить стоптанные ботинки.

Чудаков заявил, что ему на завтрашнее свидание понадобится виноградовский свитер. Виноградов ответил, что ему тогда не в чем завтра будет идти на занятия. Чудаков предложил Виноградову один раз сходить на курсы в его, чудаковском, свитере. Виноградов сказал, что свитер Чудакова он наденет только под дулом пистолета.

Я пришёл поздно ночью – в самый разгар дискуссии. Начало её мне рассказал Ерёмин через несколько недель. Чудаков и Виноградов уже не меньше трёх часов доказывали друг другу свою правоту. Следующие два часа я был прямым свидетелем дуэли двух виртуозов. Чудаков в который раз с самого начала «чисто философски» пытался объяснить Виноградову, что лекция на советских сценарных курсах гроша ломаного не стоит по сравнению с любовным свиданием, тем более, что Виноградов мог пойти на занятия в чудаковском свитере, или, на худой конец, в одной рубашке, или – он ничего не потеряет и *вообще* никуда не пойдёт! Виноградов доказывал Чудакову, что тот, приютив их у себя, во-первых, не имеет никакого права «давить на психику», а во-вторых, посещение курсов в приличном виде не менее важно, чем свидание с любимой, что он, Виноградов, не сможет давать свой свитер Чудакову каждый раз, когда Чудаков будет ходить на свои любовные свидания, а уж об отмене занятий не может быть и речи – кроме лекции, у него масса других дел, где он должен находиться в пристойном виде. Оба доходили до «крещендо», до крика, потом наступала тягостная пауза, и Серёжа после продолжительного молчания, сжав зубы, свистящим шёпотом начинал всё с самого начала. Виноградов, и так красневший по любому поводу, в тот вечер сидел пунцовый, а его псориатическая «шёлковая» лента казалась чуть ли не фиолетовой. Мы с Мишей Ерёминым переглядывались и уже понимали, что добром всё не кончится. И Чудаков, и Виноградов были упрямы, как самые безнадёжные ослы. Я, честно говоря, никогда не оправдывал Виноградова в этой ситуации, тем более, что Серёжа ни разу – до последней секунды – даже не намекал на своё гостеприимство и на то, что Виноградов что-то был ему должен за это. В конце концов, думал я, чудаковский свитер можно было бы и постирать, и тогда в нём мог бы пойти и сам Чудаков. Но Сереже

это никогда бы и в голову не пришло. Единственно, в чём был прав Виноградов: Чудакову так понравилось бы ходить в свитере Виноградова, что он мог бы и не вернуть его. Тут сработала виноградовская интуиция. Как часто я потом говорил: «Мудрый Лёня!»

Всё закончилось ровно в три часа ночи. На улице был мороз за тридцать. Чудаков молча и нервно ходил взад-вперёд вдоль стола и, наконец, после долгой паузы заявил: «Всё. Виноградов должен покинуть мою комнату. Миша и Лев, естественно, могут оставаться». Лёня и Миша тут же стали собираться, да и я сделал какое-то движение солидарности (к этому времени мы уже очень подружились), но только я дёрнулся к своим вещам, как все трое буквально заорали на меня: «Ты-то куда лезешь?! Сиди!» Серёжа поспешно говорил уходящим Виноградову и Ерёмину, что он прекрасно понимает жестокость своего поступка, выдворяя глубокой ночью на мороз двух калек, но такое упрямство, такое тупое непонимание намного более важного события в жизни товарища полностью исключает дальнейшее продолжение дружеских отношений, и т. д. и т. п. И в конце он пожаловался, что из-за этого скандала, из-за такого стресса он уже до утра не заснёт, и следующий день будет полностью потерян. Миша Ерёмин открыл свою сумку и, порывшись в ней, нашёл Серёже таблетку снотворного. Серёжа тут же достал с полки какую-то книгу и моментально сделал на ней надпись: «Михаилу Ерёмину: За снотворное – рукотворное! С. Чудаков». Ерёмин совсем недавно сказал, что эта книжка до сих пор у него. А Миша и Лёня – оба без головных уборов – Миша с палкой, Лёня с псориазом – шли «от парадняка до парадняка», отогреваясь в них (благо в советское время все они были открыты), – при тридцати двух градусах мороза! С ветром! Вдоль пустого, широкого Кутузовского проспекта от дома Чудакова до Киевского вокзала! Кто знает, что такое тридцать два градуса мороза с ветром, да ещё в ветхом одеянии, да без шапок, – тот поймёт, на какие муки обрёл Серёжа Чудаков двух «калек», «двух великих ленинградских поэтов», – славную «Коммунистическую бригаду имени Бунюэля» из-за какого-то убогого, но аккуратного свитера!

С этой ночи мы с Серёжей надолго остались вдвоём в его комнате.

В это время я стал обращать внимание на его странно-пронзительные стихи – они врезались в мою память строчками, отдельными словами и неуловимыми образами незапомнившихся строф, перемешивались со всякой рифмованной гадостью (но всегда неожиданной и смешной).

Позже я несколько стихотворений записал в свой дневник, что-то запомнил, и сейчас, когда я читаю замечательную книгу его стихов «Колёр локаль», нахожу и записанные, и запомнившиеся стихи, а во многих строчках вижу как бы вспышками выхваченные фотографии тех моментов, когда они были прочитаны.

Но больше всего меня тогда поразила одна отвратительная история, рассказанная Чудаковым весело и смачно, да ещё с полным оправданием своего негодяйского цинизма. И запомнилась она мне тоже через стихи.

Буквально за пару недель до моего появления у Чудакова жила, по его рассказам, красивая молодая женщина – жена его приятеля то ли из Риги, то ли из Таллина, арестованного за распространение антисоветской литературы и привезённого в Москву прямо на Лубянку. Серёжа проходил по делу как свидетель. Чудаков, зная, как хороша жена его товарища, уговорил её по телефону приехать в Москву, «чтобы как можно скорее вытащить друга из подвалов КГБ!» И предложил ей остановиться у него. На её ответы, что это неудобно и т. д., Серёжа патетически восклицал: «Ну что вы! Как можно! Да ещё в такой ситуации! Я же друг!» И т. д. и т. п. Я, уже зная Серёжу, очень хорошо представлял, какой эмоциональный и ораторский напор был им использован, и в конце концов жена друга решилась и приехала к нему. «На третий день я её совратил, и она жила у меня больше месяца!» – заявил он хвастливо и весело. «Да ты же – Монстр!» – ужаснулся я. «Но мало того! – продолжал Чудаков, – я стал кое-что придумывать для следователя, чтобы следствие затягивалось как можно дольше!» Тут он уже хохотал, откровенно поддакивая моим обвинениям в его подлости и низости. И, как доказа-

тельство, прочитал мне стихи, которые я уже тогда запомнил сразу, поскольку иллюстрация последней строфы была у меня прямо перед глазами. Вот это стихотворение:

Ничего не выходит наружу,
Твои помыслы детски чисты.
Изменяешь любимому мужу
С нелюбимым любовником ты.
Ведь не зря говорила подруга
Что находишь ты в этом шуте
Вообще он не нашего круга
Неопрятен, живёт в нищете.
Я свою холостую берлогу
Украшаю с большой простотой
На стене твою стройную ногу
Обвожу карандашной чертой.

Было у него ещё одно признание – он хвастал, что «периодически спит с женой своего хорошего товарища», которую прозвал Манон Леско, и тут же добавлял, что её невежество вдохновило его на гениальную поэтическую строчку: «Манон Леско ещё не прочитала произведение «Манон Леско»!» Однажды ночью Сережа затащил какую-то девицу в подъезд дома на улице Горького, где то ли на третьем, то ли на четвертом этаже находился музей Николая Островского, и там, занимаясь с ней любовью dog style прямо перед дверью квартиры автора романа «Как закалялась сталь», страстно декларировал на весь подъезд: «Жизнь даётся человеку один раз. И прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...».

А когда в 1994 году я был в Париже в гостях у Алика Гинзбурга в редакции «Русской мысли», Алик подарил мне несколько машинописных страниц со стихами Чудакова, причём самых лучших, и среди них есть одно великолепное стихотворение с упоминанием Манон Леско:

Как новый де Грие, но без Манон Леско
полкарты аж в Сибирь проехал я легко
и, дело пустяка, проехал налегке
четырнадцать рублей сжимая в кулаке
перевернулся мир, теперь другой закон
я должен отыскать туземную Манон
разводку, девочку, доярку, медсестру
в бревенчатой избе на стынущем ветру.

Но, как потом оказалось, Алик дал мне только те стихи, которые были уже опубликованы и в «Синтаксисе», и в «Голубой лагуне» Кузьминского.

Но вернёмся к Нонне Новосядловой. Я уже говорил, что несколько раз встречался с ней. Каждый раз я должен был её уговаривать – то ли прийти куда-то, то ли помириться с ним, а ещё пару раз я приносил ей какие-то запечатанные конверты. Она очень застенчиво и улыбочиво всё выслушивала, говорила мало и всегда смеялась его стихам и шуткам, которые я передавал ей от его имени. Чудаков каждый день сочинял стихи или строчки, посвящённые ей. Я запомнил совсем мало, да и то потому, что пересказывал их ей. «Обожая Нону, я её не трону». «Хочу любить тебя я, Нона! Любовь пришла и сердце тает. Хочу звонить тебе я, но на звонок мне

денег не хватает!» Или вот ещё: «Кинозвезда, приятельница, киска, подставь губам холодное плечо – учись сиять не далеко, не близко, ни холодно, ни горячо».

И ещё было очень много вариантов: Нону, Ноне, Ноной, Нонам...

И в самый апогей их романа (правда, никто не знает, где и когда они встречались) Сергей с восторгом продекламировал свой очередной опус: «Я люблю твои срамные губы и твои фаллопиевы трубы!» Вот это уже точный штрих чудаковского незлобного цинизма. Из других стихов той поры ещё тогда меня поразила последняя строфа его прекрасного стихотворения:

Но я ещё найду единственный размер
прямой как шпага и такой счастливый
что почернеет мраморный Гомер
от зависти простой и справедливой.

У мальчика в глазах зажгу пучки огня
поэтам всем с вином устрою ужин
и даже женщина что бросила меня
на время прекратит сношенья с мужем.

Я очень хорошо помню даже его жестикуляцию, распев, манеру, как он читал эти удивительные стихи. Но – странно! Прекрасно понимая, что стихи «настоящие», я, да и многие другие, до конца не воспринимали Серёжу как серьёзного поэта. И только умнейший Алик Гинзбург иногда подбирал с пола или просто выпрашивал у Серёжи какой-нибудь текст. А ещё Серёжа сочинял при мне стихи, названные позже «Плебейским романсом», и в разных вариантах придумывал две последние строчки, на которых он потом и остановился:

О, душа, покрытая позором,
Улетай, но только не сейчас.
Ангел притворяется лифтьёром,
Прямо в звёзды поднимает нас.

И когда он нараспев читал эти стихи, то всегда показывал на свой грязный потолок.

Но... Но! В то время в Москве на этом же Кутузовском проспекте проживал ещё один уникальный и выдающийся монстр (не путать с Брежневым) – Олег Осетинский.

III

Осетинского я увидел впервые в том же кафе-баре гостиницы «Украина» за месяц до знакомства с Чудаковым. Тогда мы снимали комнату с моим грузинским другом Мишей Николадзе рядом со станцией ВДНХ в частном домике с огородом, сарайчиком, курами и свиньями. Сейчас представить себе такое невозможно. Нас попросили освободить комнату немедленно после визита к нам друзей Миши: Саши Рехвиашвили, Важи Орбеладзе, Амира Кокобадзе и ещё каких-то двух «настоящих князей царской крови». Было слишком много чачи, родного кахетинского, тостов, пения и шума. Сам Миша Николадзе был внуком двух великих грузин: Николы Николадзе – учёного и просветителя – и Якова Николадзе – знаменитого скульптора и ученика Родена. В Москве он скрывался от призыва в армию. В ту позднюю осень в Москву на гастроли приехал американский балет Джорджа Баланчина «New York City Ballet», и мы каким-то чудом попали на один из спектаклей. Ещё большим чудом было то, что Миша «скосил» под американца (он всегда одевался «all states» – только во всё «штатское») и прорвался к самому Баланчину прямо в театре. Дело в том, что Баланчивадзе дружил с обоими дедами Миши, и когда Миша с ним встретился, Баланчин просто разрыдался у него в объятьях. Он тут же сунул Мише в спешке две новеньких пластинки и сказал, что будет ждать его у себя в номере после спектакля, и уж там даст ему настоящие подарки.

Мы были потрясены спектаклем, особенно двумя гениальными танцовщиками – Амбрузом и Эдуардом Виллелой, и в назначенное время поднялись на нужный этаж. Я предусмотрительно взял у Миши пластинки и «стал на стрёме» – я должен был сразу перехватить приготовленные для Миши подарки, пока его не засекли кагэбисты – мы это уже проходили с другими знакомыми американцами.

Получив пакет с какими-то журналами и свитерочками, я спустился в бар и стал ждать там Мишу. И – не поверил своим глазам! У стенки за столиком сидел, развалился, Эдуард Виллела – великий танцовщик, которого мы только что видели, и громко, на весь холл гостиницы кому-то говорил что-то по-английски! Я был в шоке: это был точно он – небольшой, черно-волосый, плотный, энергичный, и я уже хотел было подойти и попытаться каким-то образом сказать ему кучу восторженных комплиментов, как вдруг Эдуард Виллела смачно выругался чистейшим русским матом и дальше уже продолжал говорить по-русски громко и хвастливо. Я понял. Это не Виллела. Каким бы дураком я выглядел, если бы подошёл к нему! Минут через десять я узнал у своего приятеля, что это гениальный Олег Осетинский! Сценарист, литератор, скандалист, драчун и прочее. А Миша появился только через час – он всё-таки попался в комсомольско-кагэбистскую мошну, и у него отобрали самое дорогое, что под конец их встречи передал ему Баланчин, – две пары новеньких американских джинсов.

И вот, через несколько дней после ухода от Чудакова Виноградова и Ерёмкина, часов в десять утра к Чудакову ворвалась шумная компания – две молодые и очаровательные девицы и два перевозбуждённых молодых человека, очень похожих по темпераменту на Сергея. Это были Олег Осетинский и будущий режиссёр Борис Ермолаев. Девиц они ещё летом подцепили на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ, вчера встретились где-то с ними и заехали к Чудакову после бурной ночи в квартире у Осетинского в двух кварталах от Чудакова. При этом весёлые девочки, совсем не стесняясь, откровенно обсуждали сексуальную мощь и другие достоинства своих любовников. Пробыли Осетинский с Ермолаевым у Чудакова около получаса, но этого было для меня достаточно, чтобы разглядеть их и познакомиться с ними поближе. У Осетинского и Чудакова отношения всегда были как у собаки с кошкой – напор и самоуверенность Осетинского всегда натывались на хлёсткие и точные, как у китайского мастера акупунктуры, насмешки Чудакова, которые всегда приводили Осетинского в бешенство. Поскольку Осетинский – по-настоящему неординарный и яркий человек – займёт

довольно много места в моих воспоминаниях, я постараюсь как можно меньше давать ему свои собственные оценки, а предоставлю самому Осетинскому рассказать о себе, правда, в цитатах, выбранных мною из его собственной книги. Можно, конечно, обвинить меня в субъективном отборе цитат, и я полностью принимаю эти обвинения – конечно, это мой отбор, но никаких подтасовок или каких-либо махинаций с его собственными словами у меня нет. Отношение моё к Осетинскому сложное – были времена, когда мы часами могли вместе восторженно слушать музыку или читать стихи... Способности его были уникальными, но в нашей ТОЙ жизни и в той стране и Осетинский, и Чудаков были обречены изначально. И с этой точки зрения яркий антисоветизм Осетинского был мне всегда по душе. Но, в отличие от Чудакова, Осетинский надеялся, что когда-нибудь он всё-таки сможет сделать в *той* стране Настоящую карьеру Настоящего художника, а это говорит о том, что либо Олег был ослеплён своей самонадеянностью, либо, как большинство россиян, хотел «рыбку съесть и в тюрьму не сесть».

Итак – передо мной книга Осетинского «Роман Ролан». Интереснее всего для меня то, что, следуя главам этой книги, я мысленно прохожу и всю свою жизнь, и жизнь Чудакова – так всё переплетено там – и люди, и события, и места. Что же касается самой книги, то о ней очень точно сказал в своей аннотации Лев Аннинский: «Драма в жанре яростного мемуара... Дерзко, беспощадно и, я бы сказал, провокационно». Но вся его дерзость, ярость и беспощадность (в большинстве своём справедливая) обрушиваются только на других и, к сожалению, тонут в его бесконечном самовосхвалении. При этом больше всего жаль его самого – страстные натуры больше других и страдают. И ещё – его шекспировские гиперболы не всегда соответствуют истине, и я, как очевидец и правдолюб, вынужден иногда слегка его поправлять. Вот первая цитата:

«Исключали 15-ть раз на разные сроки, терпя, как «гордость школы»– призы за сочинения, всяческие олимпиады, музыкальные доклады, стихи на русском и английском – тогда редкость!» (стр. 7)² Примерно через год после нашего знакомства, когда мы уже были «корешами», Осетинский как-то вскользь бросил, что английский и французский он знает свободно и что английский он выучил за три месяца! На меня его слова произвели ошеломляющее впечатление – я тогда ещё верил во всё, сказанное Осетинским, и очень хорошо помню, как, маясь бессонницей в своём подвале на Чернышевского, я подумал – ну, Осетинский, конечно, гений, но если он выучил английский за три месяца, то года за три я уж точно смогу его выучить, если буду заниматься с полной отдачей! Первые три месяца я осваивал только фонетику, каждый день по несколько часов, прослушивая пластинки и занимаясь со своей замечательной подружкой Динарой, которая «передавала» мне знания, учась на первом курсе иняза. И уже через пару месяцев, услышав английский Осетинского, я приободрился – его произношение было ужасным!

Продолжаю цитировать: «Дальше – звучит гордо: «Драматическая студия при Клубе торговли г. Ялты». Платят зарплату! Ставлю «Гамлета» и «Фабричную девчонку» (вторым после Б. Львова-Анохина – он пришёл ко мне на Морскую – он видел!) Леплю актёров из солдат (Д. Шахов, тоже режиссёр) и школьниц (Галя Дашевская, ныне нар. артистка!) Ставлю голос певцам филармонии!» (стр. 9)

«А про мою *АНДРОНИАДУ* читайте в моём коротком романе «Бедный Андрон»... Объяснюсь всё же – потому как мой круг гениев и патриотов Искусства меня как бы до сих пор осуждает за «связь» с Андроном. Объясняю: сначала Андрон мне просто нравился, он безотказно бегал за водкой и рассолом, играл мне Прокофьева – а я ведь помешан на музыке! ...И, главное, я люблю, когда меня слушают, я рождён пророчествовать и вызывать, а Андрон слушал меня часами, как слушали меня потом в Ленинграде и Авербах, и Шлепянов, и Рейн, и сотни людей.

² Здесь и далее: Осетинский О. Е. Песнь о Витьке-дураке, или Роман Ролан. – М.: РИАА-А, 2001.

Он принял меня как Гуру, он обо мне заботился, мной восхищался, *А мне негде тогда было жить в Москве* (выделено мной. – Л.П., – как я его понимаю!), и *мне очень нравилась дача Андрона на Николиной горе...* Я, кстати, полагаю, что рано или поздно неизбежно буду объектом тайной гордости будущих потомков Михалковых». (стр. 15)

Тут я вздыхаю и очень искренне бормочу: бедный Осетинский! Здесь надо обратить внимание на удивительную детскую трогательность Осетинского – он объясняет ещё и *причины*, по которым он был вынужден общаться с Андроном! Но когда я вспоминаю книгу Андрона Кончаловского «Низкие истины» – вялую, глупую и вызывающую чувство брезгливости, я полностью встаю на сторону хвастливого, но яркого и *открытого* Осетинского. В таких, как он, людях меня всегда поражало только одно: неужели им трудно хотя бы на секунду взглянуть на себя со стороны?!

И вот, наконец, первое упоминание о Серёже Чудакове. Осетинский пишет о своём поступлении на сценарные курсы в 1961 году, ровно за год до моего знакомства с Чудаковым: «Всё это организовал **великий** поэт, русский Вийон, единственный и незабвенный мой друг Серж. Сергей Иванович Чудаков – величайший русский поэт того нашего времени, который **тогда** – трудно поверить! – был настоящим ангелом – не пил, не курил, не имел любовниц – только читал и писал гениальные стихи!» (стр. 17) Тут Олег Евгеньевич явно перебрал – и насчёт «единственного и незабвенного» (об этом позже), и насчёт «ангельского чина» Чудакова. Либо Осетинский познакомился с Чудаковым в тот год и ещё не «врубился» в реальную чудаковскую жизнь, либо просто привирает, только непонятно для чего. Чудаков в жизни Осетинского был единственной занозой, от которой он **никогда** не мог избавиться. Чудаков никогда не курил, вино пил всегда – это видно по самым ранним стихам из «Синтаксиса» да по рассказам Ерёмина, Уфлянда, Герасимова, которые пили вместе с ним и в Ленинграде (1956 год!), и в Москве – начиная с 1958 года. Да и я нашёл его уже выпивающим, уже тогда заметил, что пить ему с его «вялотекущей» очень опасно, и несколько раз ему об этом говорил. А уж насчёт любовниц – тут один только веер обведённых ног на стене говорил сам за себя!

И ещё Осетинский: «Много позже меня спрашивали такие разные Илья Эренбург и Леонид Леонов – «но почему не проза, не стихи? Ведь вы (комплимент!)... так почему кино?» Я тогда стеснялся своей «киношности», боялся – не поймут! Но ответ был всегда один – потому что «Летят журавли»! **Потому что – Урусовский!**» Тоже – либо наивность, либо лукавство: Осетинский прекрасно знал драконовские законы советской цензуры, и не понимать, что в советском кино сценарист **всегда** являлся всего лишь материалом, он не мог. И уж какие тут могут быть серьёзные разговоры о Настоящем Искусстве! Так что, на мой взгляд, зря Осетинский не послушался вовремя Леонова и Эренбурга.

Как-то этой же зимой 1962/63 года в коридоре «Мосфильма» я столкнулся с Олегом Ефремовым – главным режиссёром знаменитого тогда «Современника». Он сказал, что видел меня в двух фильмах и хочет, чтобы я работал в его театре. Я чуть не подпрыгнул от счастья – это было бы самым великим везеньем в моей тогдашней жизни. «Но – тут же добавил Ефремов, – у меня дурацкий театр, у нас – «демократия»! Тебе придётся показываться всей труппе. В общем, заходи, и мы поговорим». В то время я бредил пьесой Джона Осборна «Оглянись во гневе» и мечтал сыграть в этой пьесе главного героя, и, когда пришёл в «Современник», я узнал, что театр собирается ставить эту пьесу! Олег Ефремов дал мне в партнёры замечательных артистов: Аллу Покровскую (тогда она была его женой) и Геннадия Фролова. И я почти всю зиму и весну с большими перерывами ходил на репетиции своего отрывка, и это всё затянулось до самой осени.

А влюблённость Чудакова в Нонну независимо и параллельно совмещалась с кучей одно-дневно-недельных романов, и, поскольку я уже плотно осел в комнате Чудакова, некоторые его романы проходили на моих глазах.

Но – я совсем забыл о коммуналке, в которой царила тётя Шура.

Надо было как-то упрочить моё положение в квартире – инициатива была Серёжина – мы оставляли дверь нашей комнаты приоткрытой и в самый час пик коммунальной жизни с девяти до десяти часов утра я устраивал настоящий концерт – я начинал кричать на него самыми мерзкими и грязными словами, стараясь чаще использовать матерщину тёти Шуры. У меня это получалось намного лучше и естественней, чем его вялые и беспомощные ответы артиста самодеятельного театра. А в ругань я вставлял нужную информацию: «Подонки! Негодяи! Дерьмо! Во что ты превратил свою комнату! Как ты относишься к соседям! Убить тебя мало!» Он – «Шери! Я больше не буду! Я постараюсь! Да я соседей люблю!» Я морщился от его бездарной самодеятельности и неубедительных оправданий и орал на него чуть не по-настоящему, а он, подмигивая, подбадривал меня: «Ещё, ещё – матом!» И я крыл трёхэтажным, хлопал дверью, «кидал» в него табуретку, уходил и т.д. и т.п. Зато вечером или на другой день, если я оказывался на кухне или в ванной, меня уже почтительно приветствовали соседи – мол, наконец-то нашёлся человек, который смог повлиять на мерзавца Чудакова.

Однажды у него появилась девушка, которую он называл Сандрой Милой, Сандрильонной, Сандриной и просто Сандрой. Она, как ему казалось, очень походила на актрису Сандру Мило из «8½» Феллини. Что-то на самом деле было общее, только чудаковская Сандра была в сто раз проще и беззащитнее. Она его побаивалась и в первый вечер «ускользнула» от него, хотя я и просидел в баре «Украины» с кофе и сигаретами целых два часа. Каким-то образом Сергей уговорил её прийти ещё раз, и, когда я собрался в бар, он вдруг попросил меня не уходить. Было довольно поздно, метро уже было закрыто, он уговорил Сандру остаться ночевать, часа полтора безуспешно возился с ней, она упиралась, плакала, он шипел, ругался или фальшиво шептал ей всякие смешные нежности и вдруг, расвирепевший, вскочил со своей тахты и попросил меня выйти в коридор. В коридоре он поспешно сказал, что я очень нравлюсь Сандре, что я должен с ней переспать и что это единственный способ заставить её отдаться ему. Я начал протестовать, но он втолкнул меня в комнату, а сам ушёл на кухню. Сандра с плачем стала просить меня оградить её от Чудакова, и я дал ей слово, что не позволю Сергею изнасиловать её. Через какое-то время появился Чудаков: «Ну, как?» Я вышел с ним в коридор и сказал, что отказываюсь принимать участие в его плане, что это будет классическим групповым изнасилованием, что никакого насилия я не потерплю и требую, чтобы он отправил Сандру на такси домой. И тут начался горячий «философский» спор а-ля виноградский свитер! Мы то выходили на лестничную клетку, накинув на голые плечи пальто, то возвращались в коридор, я выкурил целую пачку сигарет, а Чудаков с ленинским напором всё пытался доказать мне, что я его предаю как товарища по партии. Но у меня на самом деле всегда было полнейшее отвращение к любому виду насилия, а уж к сексуальному – тем более, если ты противен кому-то, **как** ты можешь относиться к себе **после** насилия? Сандра уже спала часа три, а мы всё спорили и спорили. Под утро я сказал, что готов идти куда угодно, но ни за что не соглашусь на его бесовский план. Чудаков поднял Сандру, она оделась, мы посадили её в такси, а сами пошли в «Украину» пить кофе, всю дорогу продолжая наш бесконечный спор. Бар открывался в шесть – мы просидели там часа два, и всё время было одно и то же: Чудаков никак не мог доказать мне, что я был не прав. Но в отличие от истории с виноградским свитером, он меня не выгнал, хотя ещё несколько лет иногда возвращался к нашему «сугубо философскому» спору. Конечно, с точки зрения Чудакова, его необузданной похоти, уровня Сандрильоны, тактики и стратегии сексуального «захвата», Серёжа был абсолютно прав, но... на моём месте должен был оказаться кто-то совсем другой. Я же видел перед собой напуганную, простоватую, совсем неискушённую девочку 18 лет, которая умоляла меня спасти её от монстра, в чьи лапы она

попала из чистого любопытства. И каждый раз, когда я читаю его стихи: «Женщины, которых я изнасиловал...», я вспоминаю Сандрильону.

Но вернёмся к Осетинскому. В то время он носился со своим гениальным сценарием «Катера»: «Самый знаменитый и самый смелый сценарий этой эпохи; его крали со стола редактора... Ненапечатанный и непоставленный, сценарий побил все рекорды по количеству посвящённых ему статей... Алексей Арбузов... настолько возбудился, что написал и – послал! – письмо министру культуры Фурцевой, мол – гений тут у нас завёлся, «раз в сто лет такие рождаются (цитата) надо дать ему пожизненную Госпремию!» И дальше: «Я ещё не понимал главной мысли Ломоносова – не первым быть желаю, а Великим! И никто меня не удержит! Сбудется, что я написал себе в дневник в 10 лет! Всё сбудется! И «Оскар», и Нобелевка!» (стр. 18, 19)

Тут я должен вернуться к *нашей* компании. Лёня Виноградов около пяти лет был моим самым близким другом. Выпив лишнее, он почти всегда начинал скандалить и кричал: «Бродский говно! Есть один великий поэт – Ерёмин!» (У него, слава Богу, хватало ума не называть великим себя.) А однажды, будучи трезвым, он совершенно всерьёз заявил, что они с Мишей к сорока годам получают Нобелевскую премию. Потом, подумав, добавил: «А если не получим, станем грабить банки». На все подобные высказывания Ерёмин только хитро ухмылялся. И, между прочим, это Миша придумал звать Иосифа Бродского «В. Р.», то есть – «Великий Русский», поначалу с лёгкой иронией, но очень скоро ирония пропала сама собой. В конце 60-х в ресторане ВТО мы отмечали премьеру пьесы Виноградова, Ерёмина и Лифшица (Льва Лосева) по книге А. Милна «Винни Пух и все-все-все», поставленную в Московском ТЮЗе. Я сидел рядом с Лифшицем, а напротив нас разбушевавшийся Виноградов кричал своё наболевшее: «Бродский говно! Уфлянд гений! Ерёмин гений!» и т. д. и т. п. Я показал Лифшицу на Лёню и спросил: «Лёша, ну почему он такой мудака?» Лёша ответил: «Да, он мудака, но мы ведь его любим».

Весной Чудаков потерял свой ключ, и мы какое-то время пользовались одним – вот отрывок из моего письма маме (март 1963 г.): «...А я уже забыл, что такое дом – мотаюсь по Москве без своего угла, без конуры, без места... Вынужден ждать половины двенадцатого, так как товарищ мой раньше не появляется, а ключ от квартиры один. Вот сейчас – зашёл на почтамт и пишу тебе длинное письмо... Как надоело спать на бугристых диванах с клопово-монгольской ратью (недавно прочёл в «Юности» фразу: «А ночью клопы двигали диван»). Так у меня поначалу было точно так же. Вчера на своё ложе я вылил очередную бутылку дезинсектанта, и уже два дня домохозяйки принимают, когда я вхожу в автобусы, метро или троллейбусы, – им так приятно ощущать родной запах! Друзей у меня нет. Товарищей сколько угодно. Новых людей искать не хочу. Все одинаковы. И, как ни странно, мне с ними скучно. Единственный яркий и неординарный парень, который мне симпатичен, это Чудаков, у которого я сейчас живу, но он циник и негодяйчик. Он один из друзей Тарковского, теперешней знаменитости, так что на днях мне предстоит с ним познакомиться...»

Повесть А. Гладилина в «Юности» мы с Серёжей читали вместе, и эта фраза о клопах нам показалась очень родной. А потом она перешла в стихотворение Чудакова:

Ползут клопы, раскачивая нары...

А с Тарковским я у Чудакова так и не познакомился – опоздал на пятнадцать минут и только полистал какую-то философскую книгу – то ли Юнга, то ли Юма; одну из тех, которыми Серёжа тогда снабжал Тарковского, «как подающего надежды». Книга вся была испещрена дотошными заметками самого Тарковского – подчеркиваниями, галочками, восклица-

тельными и вопросительными знаками. Видно было, что он очень серьёзно подошёл к чтению этой книги. Как раз тогда Тарковский начинал работать над «Андреем Рублёвым» и даже одно время всерьёз хотел снимать Чудакова в роли Бориски, которого потом блестяще сыграл Коля Бурляев.

Примерно в это же время у нас произошла ещё одна история, которую мы потом часто вспоминали. Однажды часа в два ночи мы решили прогуляться до «Украины» и попить там кофе. Швейцар нас не пустил. А Чудаков решил, что он **непременно** должен пройти внутрь. Это был, пожалуй, единственный раз, когда я видел Чудакова в состоянии настоящей ярости. Он пытался каким-то образом уговорить швейцара, совал ему деньги, чуть не подрался с ним, и я силой оттащил его, когда швейцар стал звать милицию.

Тогда мне категорически нельзя было попадаться милиции даже на глаза, потому что в феврале меня «замели» в ресторане Киевского вокзала и препроводили в ближайшее отделение. Поскольку у меня не было **никакой** прописки, меня продержали там больше суток, и выручила меня моя верная подруга Динара, которая привезла какое-то письмо с «Мосфильма». Но мне пришлось дать подписку о моём выезде из Москвы в течение 48 часов, а в случае нарушения режима мне грозил год заключения, правда, неизвестно где. Так что с того дня я вздрагивал и внутренне сжимался при виде милиционера в любом месте в любое время дня и ночи.

Но Сергей закусил удила и с вытаращенными глазами, с безумным оскалом шипел и бормотал только одно: я должен попасть в бар! Я должен попасть в гостиницу! Он потащил меня во внутренний двор гостиницы и – надо же! – где-то в снегу нашёл громадную, метров в пятнадцать, невероятно тяжёлую деревянную лестницу! Как я его ни отговаривал, как ни убеждал отказаться от безумного плана, – всё было бесполезно. Мы вместе – в половине третьего ночи! во дворе интуристовской «Украины»! – с какими-то невероятными усилиями, пыхтением, грохотом дважды роняемой тяжелой и ужасно неудобной лестницы, приставили это размокшее устройство к стене гостиницы, и она упёрлась как раз в ограждённое сталинскими балясинами «гульбище» на высоте бельэтажа! И Чудаков смело туда полез, пока я в ужасе поддерживал лестницу и молил всех богов, чтобы нас никто не обнаружил и не вызвал милицию. В этом случае нас могли обвинить в чём угодно – покушении на убийство, ограблении и т. д. Серёжа скрылся в темноте и пошёл куда-то по этому «гульбищу», а я отправился к главному входу ждать или его возвращения, или его препровождения в то же самое отделение милиции, где я сам был совсем недавно. И – надо же! Минут через сорок сияющий, возбуждённый, весело и совершенно беззлобно бросив обалдевшему швейцару победную фразу, Чудаков вышел из главного входа «Украины», и мы пошли к себе домой. Я тогда впервые осознал его несокрушимую маниакальность и по дороге домой пытался развивать уже давно мною принятую философию кармы. Мы снова спорили, но на этот раз я ему искренне завидовал – это был всё-таки поступок Свободного Человека! Я же в моём положении не имел права рисковать – слишком глубоким было бы падение и слишком большая цена за этот свободный взлёт на высоту второго этажа интуристовской гостиницы! Через какие-нибудь десять-двенадцать лет на моё совсем «лёгкое» воспоминание об этой «кармической», на мой взгляд, истории Чудаков в письме из Троицкой психушки мне категорически ответит: «А в карму я не верю!»

Воспользуюсь еще Осетинским: «А вот юный Алик Гинзбург, издавший легендарный «Синтаксис» (будущий директор Фонда Солженицына, крестный отец многих знаменитых людей в соборе Александра Невского в Париже), устраивает свой пивной день рождения. Конечно, Серж Чудаков тут, и я его ругаю, как всегда...» (стр. 38) Не знаю, в этот день рождения или в какой-то другой Серёжа Чудаков подарил Алику Гинзбургу старинную вывеску со знаменитого родильного дома № 17 имени Г. Л. Грауэрмана, в котором родился Алик. Я очень хорошо помню эту вывеску, когда она еще висела рядом со входом в родильный дом на Новом Арбате, – с красивым шрифтом, в эмали – ее ночью каким-то образом «выкорчевал» из стены

Чудаков, и я потом любовался ею в квартире Алика – она висела рядом с замечательными картинами художников-шестидесятников. И потом, проходя мимо этого особняка, я всегда находил следы этой вывески на стене роддома и вспоминал бесстрашного Чудакова.

Весной 1963 года Серёжа уехал к своему другу-литератору на дачу, а перед его отъездом меня навестила родная сестра с моей верной подругой Динарой – они обе были года на два, на три старше нас с Сергеем. Они пришли взять всё наше бельё – и моё, и Серёжино, чтобы постирать его в прачечной за один день. Тогда на столе всё ещё стояла чудаковская тахта (я писал об этом выше), и было очень неудобно снимать с неё простыню и пододеяльник. Как раз в это время пришёл Серёжа и, вытаращив глаза на весьма симпатичных девушек, спросил: «Это что за палеонтологический музей?» Моя сестра оскорбилась, а Динара с криком: «Ах ты, шибздик!» – стала лупить его грязной простынёй.

Довольно долгое время я жил в Серёжиной комнате один. Со всеми соседями у меня установились прекрасные отношения, и однажды, когда я пришёл раньше обычного, в комнату постучалась соседка и сказала: «А сегодня днём **к вам** приезжал Серёжа!» Когда я рассказывал это Сергею, мы хохотали – это была полная победа над коммуналкой!

История моя с «Современником», как я уже говорил, затянулась, но вдруг на «Мосфильме» меня встречает сценарист-режиссёр А. Г. и предлагает мне сняться в главной роли в его фильме, который он будет снимать на «Казахфильме» в Алма-Ате, на моей родине! Я читаю сценарий – что-то чудовищное и бездарное, называется «По газонам не ходить!», я должен играть бригадира какой-то строительной бригады – «проблема изображения казённых подвигов бетонирования и лесоповала» (С. Чудаков). Но... у меня нет никакого выхода. Во всяком случае, я мог восстановить мою алма-атинскую прописку, а с ней я был бы в Москве уже получеловеком. Одним из членов моей бригады оказывается Володя Высоцкий. У него тоже была аховая ситуация: его уволили из театра им. Пушкина. Недавно мы снимались с ним в «Увольнении на берег», а перед съёмками провели две недели, пьянствуя в Ленинграде и Таллине. («Другая история!» – как говорит Осетинский.)

И – в начале лета я улетаю в Алма-Ату. Там за полтора месяца нашего пребывания у нас было только два съёмочных дня – более бестолковой и организации работы, и самой студии представить тогда было невозможно. Всё свободное время я проводил или дома, или со своими алма-атинскими друзьями Марковичами и замечательными ребятами-архитекторами из Ленинграда, которых «выписал» Кунаев, дав каждому по трёхкомнатной квартире. А Володя Высоцкий попал в не менее замечательный алма-атинский «культурный салон», конкурирующий с «салонам» Мамцовой, и мгновенно стал алма-атинской знаменитостью – он везде пел свои песни, а благодарные алмаатинцы записывали их на магнитофоны. К нашему всеобщему счастью, картину закрывают, я возвращаюсь в Москву, и моя подруга Динара предлагает мне устроить фиктивный брак.

Должен сказать, что только за этот год мне было сделано два серьёзных предложения от весьма интересных девиц – дочерей очень богатых и влиятельных людей, но мне и в голову никогда не приходило идти на подобные жертвы – отказываться от самого святого для меня в жизни – моей личной свободы. А тут – надёжный человек, «своя в доску», Динка предлагает прописаться в комнату, где живут ещё три человека! Я соглашаюсь, мы расписываемся, но у меня тут же отбирают паспорт, и я попадаю в капкан! Меня должны в самое ближайшее время взять в армию! Гениальная и верная Динара берёт бутылку шампанского, коробку конфет, идёт в военкомат и там находит общий язык с девочками-секретаршами. Они прячут моё дело куда подальше и отдают Динаре мой паспорт!

Я на радостях беру билет в Тбилиси (за наше безделье в Алма-Ате с нами расплатились по тем временам очень щедро) и лечу к своему другу Мише Николадзе. Две недели проходят в безумном пьянстве с «грузинскими князьями», и я понимаю, что если я останусь в Тбилиси ещё на какое-то время – мне конец! Я сбегая от своего друга ночью, оставив записку, улетаю в

Москву, а через два дня какой-то мосфильмовский администратор находит меня в кафе «Националь» и переводит через площадь в гостиницу «Москва». Там меня обнюхивает и осматривает, как какую-то козьявку, маленький, шустрый, сам как козьявка, итальянский режиссёр Джузеппе де Сантис! Тот самый режиссёр, который снял фильм «Утраченные грёзы» (настоящее название – «Дайте мужа Анне Дзакео») – с самой прекрасной в мире женщиной – Сильваной Пампанини! Этот фильм я смотрел в Алма-Ате, каждый раз обливаясь слезами, раз десять! И этот великий итальянский карлик через переводчика объявляет мне, что завтра я еду в Полтаву, где буду сниматься в его фильме в роли итальянского солдата Лориса Баццоки! В главной роли! Позже я узнаю, что эту роль должен был играть знаменитый Энтони Перкинс, но студия «Галатhea» не смогла собрать для него один миллион долларов, и американцы прислали тогда Питера Фалька (известного у нас по роли Коломбо в американском сериале), но у него один глаз оказался стеклянным, что совсем не понравилось Де Сантису.

Но сколько здесь таинственных совпадений! Во-первых, в Алма-Ате картину могли не закрыть, во-вторых, я мог задержаться в Тбилиси или поехать с одним знакомым режиссёром в Сухуми: «Делать ничего не надо! Только загорай и получай в месяц 250 рублей!!» – и, в-третьих, я мог бы не заходить в «Националь» несколько дней и т.д. и т.п.!

В общем, я понял, что это была длань Господня! Я спустился в кафе при гостинице «Москва», тут же на радостях выпил грамм сто пятьдесят коньяка и вдруг увидел знакомую ещё по Ленинграду рожу – это был Лёша Хвостенко с какими-то двумя приятелями. С Хвостом мы встречались у Бориса Понизовского – замечательного ленинградского человека, у которого всегда были открыты двери квартиры, в прихожей прямо на полу навалены горой пальто и куртки, где всегда можно было выпить, услышать всякие стихи и «принадлежать» к ленинградской нищей и наглой молодой богеме. Приятели Хвоста были, как у нас тогда говорили, «гнилые», да и Хвост был совсем не нашей закваски, но я им всем так обрадовался! – как же – земляки! Да у меня ещё такое событие! Кончилось всё просто – мы все ночевали в комнате Чудакова, я их всех полюбил, как родных, на следующий день они пошли провожать меня на Киевский вокзал, где я торжественно вручил Хвосту ключ от чудаковской комнаты, и он, как честный человек, дал мне слово, что будет очень аккуратен и т.д. и т.п., и что, когда будет уезжать, оставит ключ там-то и там-то.

В поезде целые сутки, пока мы ехали, со мной «беседовал» сотрудник первого отдела «Мосфильма». Он строго предупреждал меня, чтобы я «не входил ни в какие контакты с врагами-капиталистами», а на мои возражения, что я должен «работать над образом», учить язык, изучать их пластику, жесты и т.д., он твердил своё: «Держись от них подальше, а не то...» Это была первая в Советском Союзе масштабная совместная картина с капиталистической страной – там итальянцев было человек шестьдесят, и поэтому каждый второй «мосфильмовец» был или стукач, или агент КГБ. Впрочем, у итальянцев, я думаю, было примерно то же.

Когда я приехал в Полтаву, съёмки не было, а в гостинице в самом большом номере человек пять сценаристов, прилетевших из Рима, писали новую роль для Питера Фалька, чтобы не платить ему громадную неустойку. Второй режиссёр фильма торжественно заявил мне, что, поскольку моя роль оплачивается «Галатеей», то у меня на картине будет ставка 25 рублей! И – после подбора костюма, утверждения грима и знакомства с режиссёром и оператором – меня отправляют обратно в Москву заключать договор. Начальником актёрского отдела был тогда знаменитый Адольф Михайлович Гуревич, про которого актёры говорили: «Хорошего человека Адольфом не назовут». У него был простой и бесприкрытый приём в разговоре о повышении ставки с «чужим» актёром, который он и продемонстрировал, когда я ещё на «Утренних поездках» попытался только заикнуться о более высокой ставке – 16 рублей 50 копеек: «Вы же очень плохой актёр! Скажите спасибо, что вас ещё снимают!» Я вспыхнул от негодования и спросил его: «Может быть, это Я должен платить за каждый съёмочный день?» На что он спокойно ответил: «А многие платят!» И вот теперь повторилось то же самое, только в этот

раз я успел наговорить ему кучу гадостей, мы кричали друг на друга чуть ли не матом, а я ещё держал дверь, в которую рвалась секретарша.

Я выскочил от него и тут же послал телеграмму в Полтаву (я чудом сохранил испорченный бланк): «Полтава гостиница директору группы Они шли на восток Буту. После разговора Гуревичем окончательно отказываюсь сниматься по ставке меньшей, чем 20 рублей за съёмочный день Выезжаю Полтаву только при получении телеграммы подтверждающей эту ставку Прыгунов». Сейчас меня смущает в этой телеграмме слово «окончательно» – судя по всему, перед этим уже мне было отказано в обещанной ставке. И тут на мой адрес «К-9 До востребования» посыпались десятки телеграмм – и от директора «Мосфильма», и от директора и второго режиссёра картины, и даже от министра кинематографии и его замов. И все вопили – одни грозно, другие умоляюще: «Вы срываете съёмки! Немедленно выезжайте!..» и т. д и т. п.!

И меня обманул человек, которого я уважал – тот самый, кто обещал мне ставку 25 рублей! Он мне послал телеграмму, что если я «спасу картину от жесточайшего простоя, он мне клянётся пробить ставку в 20 рублей!» И я вернулся в Полтаву. Но к моему ужасу, я увидел, что всё это время снимали Питера Фалька, и я ещё дней пять был совершенно свободен! А в Полтаве меня ждал уже готовый договор «в виде исключения!» на 16 руб. 50 коп.! И я почувствовал себя примерно так, как, вероятно, чувствует себя человек, которого гнусно изнасиловали. Я не придумал ничего умнее, как написать «правдоискательское» письмо прямо из Полтавы (благо времени у меня было достаточно) министру кинематографии Романову! Боже, какой я был наивный дурак! Романов тут же отослал это письмо Адольфу Гуревичу, и я очень надолго остался заклятым врагом начальника актёрского отдела. Но, к моему несчастью, на съёмках в Полтаве произошло ещё одно событие, которое навсегда и бесповоротно изменило мою жизнь. Когда отсняли Питера Фалька, в картине остались только те сцены, в которых был занят «мой» итальянец. В то лето в степи под Полтавой стояла жара под сорок градусов, а на мне было надето полное обмундирование из толстой шерстяной ткани с портупеей, кинжалом, фляжкой и винтовкой, и ко всему прочему на моё лицо наклеивали «небритость» из коротко стриженных волос – всё это чесалось, вонзалось, разъедало, раздражало до крайности и приводило в полное отчаяние. К тому времени, когда объявляли обед, я уже еле стоял на ногах и всегда подходил к длинной очереди за киношной баландой, которую черпаками разливали из двух громадных котлов, самым последним. Итальянцев же кормили в специально привезённом вагоне-ресторане, который стоял рядом с котлами, и обслуживали их молодые красотки-официантки. Ни директор картины, ни второй режиссёр не имели права находиться и уж тем более обедать в этом вагоне. Дней через десять после начала изнурительнейших для меня съёмок я, в десятый раз оказавшийся во время обеда последним в очереди, получил, наконец, порцию щей в алюминиевую миску и стал искать место за каким-нибудь столом под большим тентом – скамейки и столы были вкопаны в землю. Но, увы, все места были заняты, и только у одного стола торчал острый кол, на котором когда-то была дощечка. И тут один из осветителей, увидев, что я ищу место, громко закричал, показывая на этот кол: «Лёва, садись сюда!» И вся наша группа человек в шестьдесят громко и весело захохотала. Я задохнулся от гнева, обиды, несправедливости и случайно обернулся в сторону итальянского вагона. Во всех его окнах торчали головы итальянцев, которые так же весело хохотали, да ещё показывали на меня пальцами. И тут я почувствовал, что у меня земля плывёт под ногами, а откуда-то, из каких-то неведомых мне глубин вырастает, точно атомный гриб, столб дикой, неконтролируемой ярости.

Я швырнул миску со щами, и меня, что называется, «понесло»: я визжал и катался по земле, изрыгая проклятья коммунистам, гэбистам и стукачам, кричал, как я их всех ненавижу, как ненавижу эту подлую рабскую страну. Господи! Чего только я им не накричал! Меня бросились успокаивать, кто-то пытался закрыть мне рот, но истерика от этого только нарастала, и я уже с величайшим наслаждением и даже некоторым облегчением успел выкрикнуть им всё, что к тому времени накопилось у меня на душе. Наконец, я успокоился, мне освободили какую-

то скамейку, но я заявил, что с этого дня я буду обедать только с итальянцами. Зашёл в вагон-ресторан, заказал роскошный обед и этим подписал себе приговор на пожизненное отлучение от совдеповской кормушки. Но зато впервые почувствовал себя свободным человеком.

Когда я вернулся после съёмок «к себе домой», из комнаты пропала дорогая швейная машинка (стоила рублей 250!). Всё это время, слава Богу, Серёжа дома не появлялся.

К этому времени опять возобновились репетиции в «Современнике», и мы с новой силой (а я с невероятной надеждой) взялись за подготовку к показу. До сих пор с благодарностью вспоминаю то внимание, какое оказывали мне мои партнёры Алла Покровская и Геннадий Фролов.

Наконец всё было готово, и я приехал на «смотрины» – они были устроены в каком-то нелепом то ли коридоре, то ли зале, без сцены, без нормального света. На стульях, покуривая и болтая друг с другом, сидели актёры, причём половина из них демонстративно сидела либо боком, либо спиной к «сцене». Мы попытались переждать шум, но кто-то из зала крикнул: «Ну давай, начинай, у нас и так времени мало!»

У меня, к сожалению, не хватило ни ума, чтобы почувствовать подвох, ни чувства собственного достоинства, чтобы отказаться от показа, не говоря уже о каком-либо опыте существования в театре – этой «банке с пауками», – и мы начали сцену. Первую половину я, естественно, провалил, а потом вдруг почувствовал такую ярость и гнев, которые полностью соответствовали характеру моего героя, что вторую часть явно «перебрал», и показ, конечно же, получился неровный. Директором театра был Олег Табаков, и он сказал мне буквально такие слова: «Понимаешь, старик, ты не нашей школы – давай я устрою тебя на четвёртый курс в наше училище, и уж оттуда мы тебя возьмём. Хотя – я говорил о тебе Толе Эфросу, и он очень заинтересовался. Так что позвони ему!»

И Табаков дал мне телефон Эфроса. В «Современнике» тогда работал мой товарищ Боря Ардов, и он рассказал мне, как Табаков уговаривал всех актёров, чтобы они меня «опустили». Уже в 1970 году, когда мы с Табаковым оказались в Болгарии и нас пригласили выступить в Софийском театральном институте, Олег Павлович вдруг в самом конце выступления сказал всему залу: «А вообще, вы должны зубами драться за своё место в театре. Вот когда-то давно Лев, – тут последовало его неподражаемое хихиканье, – хотел поступить к нам в театр, но я сделал всё возможное, – снова хихиканье, – чтоб он к нам не попал! Лев не даст соврать!» Я, конечно, не дал. Только до сих пор не могу понять, зачем ему надо было так демонстративно обнажать свой цинизм.

Зато через неделю я оказался в очень неплохом театре, да ещё попал в команду Эфроса. Когда-то, ещё на первом курсе, наш мастер Татьяна Григорьевна Сойникова нам сказала: «Вы особенно не ободряйтесь по поводу театра. Настоящий театр погиб. Правда, есть в Москве один мальчик, который ещё может что-то сделать. Его зовут Толя Эфрос».

Вот коротенький отрывок из письма маме, написанный сразу после моего приезда из Полтавы, где проходили съёмки, но до возвращения Чудакова из Подмосковья: «Театр меня очень хорошо принял, и я попал в группу Эфроса. Скоро начнутся репетиции «Ромео и Джульетты», я, возможно, буду репетировать Ромео или ещё кого-нибудь, начнём заниматься акробатикой, фехтованием, – вот тогда я буду чувствовать себя отлично. Хотя и сейчас у меня настроение неплохое. Буду жить на 80 рублей в месяц (зато потом будет больше). Ем много, курить стал меньше. Почти не пью. Да! Скорее шли (я говорю Ирине) одеяло, простыни и прочее – на днях приезжает Чудаков и всё у меня отбирает. И ещё! Объясни маме, что Чудаков неплохой парень, и что **мне** нечего его опасаться, что скорее **ему** надо бояться меня. Ведь я собираюсь жить у него и в дальнейшем...».

Когда Сергей приехал, то даже не заметил пропажи швейной машинки, потому что она всегда стояла на подоконнике за шторой, которую он никогда не открывал. У меня, к несча-

стью, не хватило ни смелости, ни благородства рассказать Серёже о хвостенковском воровстве, и когда года через полтора-два Чудаков вдруг спросил: «Шери! А ты не знаешь, что случилось со швейной машинкой?» – я ответил совершенно искренне: «Клянусь тебе всеми святыми – Я её не брал!» И он успокоился. А ещё года через два в Ленинграде на Невском я вдруг увидел Лёшу Хвостенко с какой-то девицей и, прижав его к стенке Дворца искусства, высказал ему в самых ярких выражениях всё, что о нём думал. Он оправдывался – говорил, что он в этой комнате не жил и что машинку украли его приятели-наркоманы.

И снова Осетинский: «Перед входом во ВГИК собираю толпу слушателей (в ней и моя будущая жена, тощая провинциальная уродка – попигмалионил полгода – сделал красавицей!) Говорю два часа. Общий восторг. Познакомился тут же с Марленом Хуциевым. «Напишешь мне современную «Войну и мир»?» – Я качаю головой: «Я, конечно, себя ценю, но «Войну и мир» – без меня! Господи! Если б я знал, что речь идёт о будущей «Заставе Ильича» – умер бы со смеха!» (стр. 12)

А вот отрывок из моего письма маме от 29 октября 1963 г.

«У меня сейчас дела блестящи, а вот денег-то и нет, и в ближайшее время до постановочных не будет. Сегодня с утра у меня был первый съёмочный день у Хуциева в «Заставе Ильича». Ещё один «антисоветский фильм»! Будет отличная финальная сцена, о которой знает весь мир, – Никита Сергеевич говорил о ней на пленуме. Так что на мне лежит ответственность аж перед самым премьером! Но сцена небольшая, компактная, так что сниматься я буду не больше недели, а у меня ставка всего-ничего 13,50 в съёмочный день. Дня через два-три я буду переезжать от Чудакова. Снимаю комнату за 30 рублей. Хозяйка просит заплатить вперёд».

С хозяйкой моей ничего не получилось – она на четвёртый или пятый день после моих еженощных бдений с друзьями и подругами вернула мне все деньги и выгнала взащей. Пришлось возвращаться к Чудакову.

IV

Именно в этот раз я впервые увидел его мать. Её, оказывается, время от времени выпускали из психиатрической больницы домой.

Это была абсолютно больная, маленькая, сухонькая женщина, очень скромно одетая во что-то чёрно-серое, – она часами стояла посередине комнаты рядом со столом, даже не облокачиваясь на него, и курила одну сигарету за другой, глядя куда-то вглубь себя, не сдвигаясь с места и не меняя позы. Бог знает, о чём она думала, что вспоминала и что там мерещилось ей в её маленькой, больной головке. Она очень боялась сына, а тот обращался с ней, как с вещью – просто приподнимал её и переставлял, как вешалку, при этом беззлобно, но очень смешно шутил. Иногда, правда, она вызывала в нём приступы ярости, и он вдруг шипел-кричал на неё: «Быстро на кухню! Марш на кухню, я сказал!» И она поспешно семенила по коридору.

К моему ужасу, через несколько дней весь её страх перед сыном вдруг обернулся лютой ненавистью ко мне – я иногда ловил её «испепеляющие» взгляды в мою сторону, а однажды ночью мне приснился какой-то кошмар. И когда я проснулся, первое, что я увидел, было её безумное лицо в тридцати-сорока сантиметрах прямо надо мной! Она глядела не в глаза мне, а чуть выше – в середину лба и точно сверлила в нём дыру. Медленно подносила сигарету к своему старческому рту и так же медленно после затяжки опускала руку. Я, честно говоря, просто не знал, что делать. Когда первый момент ужаса прошёл, я стал ворочаться в надежде, что она очнётся от своего параноического ступора, но это оказалось бесполезным. Прикрикнуть на неё или послать на кухню в манере Чудакова я никак не мог, и всё закончилось тем, что я закрылся от неё с головой одеялом и как-то незаметно уснул. И только потом я сообразил, что ей ничего не стоило окончательно увидеть во мне всё средоточие зла и несчастий её жизни, взять на кухне какой-нибудь тяжёлый предмет – молоток или топорик и жакнуть по тому самому ненавистному месту, куда она хотела проникнуть своим упорным взглядом. У неё была какая-то тяжёлая форма паранойи.

Жили мы втроём недели две, но тут, к моему счастью, мне «нашли» инженера ЖЭКа, который «разрешил» отремонтировать нежилой подвал на улице Чернышевского и жить там какое-то неопределённое время. Это был небольшой, крепенький кирпичный домик девятнадцатого столетия, в подвалах которого когда-то находилась кузница. Лет двадцать пять назад этот дом снесли вместе с соседними домами советской постройки, и на их месте теперь стоит кинотеатр. Подвал был сырой, но тёплый, там не было пола, и я целый ноябрь возился с ремонтом – где-то находил доски, за бутылки договаривался с работягами, и они кое-как сделали мне пол. Мы с Динарой наклеили обои, откуда-то у меня появилась огромная шкура белого медведя, которая потом так же таинственно исчезла. Как-то меня навестили мои друзья-грузины, и чудный, славный и талантливый архитектор Важа Орбеладзе сделал замечательный рисунок моего любимого подвала.

Этот год был, пожалуй, самым счастливым годом моей молодости – я работал в Центральном детском театре, репетировал ночами с Эфросом и его командой «Ромео и Джульетту», играл в его спектакле «В поисках радости» и уже стал обрастать своими поклонниками – «сырами» и «сырихами»³; одновременно репетировал роль Тиля Уленшпигеля в бездарной пьесе у бездарного режиссёра Колесаева, и по всему по этому ноябрь и декабрь проскочили мгновенно.

С Ерёминым и Виноградовым мы уже давно были друзьями, хотя виделись редко, я ещё чаще стал бывать в «Национале», и у меня там появились замечательные друзья – Роман Каплан, Анатолий Брусиловский, Сергей Богословский; мы стали приятелями с Осетинским – он

³ От названия магазина «Сыры» на улице Горького, где собирались поклонники С. Я. Лемешева.

бывал у Чудакова, да и мы с Чудаковым бывали у него дома по каким-то случаям. Я стал в свободные часы между репетициями и спектаклями ходить в театральную библиотеку – она находилась совсем рядом, и запоем читал всё подряд, учил одновременно итальянский и английский языки, и, хотя к концу съёмок я уже мог кое-как объясняться по-итальянски, английский пошёл у меня гораздо быстрее и успешнее. Тут мне помогли две пластинки Фрэнка Синатры, в которого я влюбился с первой же песни. Словом, всё было в самом центре, где все друг друга знали, всё было сконцентрировано, плотно, сжато и бесконечно ново и интересно! У меня чудом сохранилась тетрадь, в которой вместе с рисунком моего подвала и уроками итальянского языка есть несколько дневниковых записей.

«10. 01. 64 г. Опять эта вечная бессонница! В башку лезут... Господи, чего только не лезет в бессонную голову! Ночь, темно, я лежу на спине, думаю как всегда о том, что было, что будет, и, главное, о том, что должно быть, и улыбаюсь. Мне очень нравится бессонница – я к ней привык. А времени уже половина пятого. Завтра, т. е. сегодня, в 10 надо быть в театре, а не спать мне ещё часа полтора, не меньше – это уж я знаю точно. Лихорадочно воображаю себе ближайшее будущее – две премьеры в кино, репетиции Тиля, мечтаю о настоящей работе с Эфросом, вспоминаю С., и всё время одно – работать, не жалея себя, но ради Бога, что-нибудь настоящее, тонкое, истинное. А иногда думаю о смерти. Это смешно, но факт. Вчера, тоже во время бессонницы, думал о том, как быстро может износиться организм от той бездарной жизни, какую я вынужден вести. Думаю о славе, успехе, признании и с раздражением тут же отбрасываю в сторону – не то, всё не то.

Разговариваю сам с собой, твержу себе опять и опять – настоящее, истинное... Надо добиться такой организации своего тела и духа, чтобы всё время слышать и чувствовать **предназначение**, чтобы изнаслаждаться, изболеться, исстрадаться в своей маленькой жизни ещё до болезней, до смерти, и только тогда принять смерть с той же радостью, с которой сейчас я воспринимаю свою неустроенную жизнь. Одна из моих самых прекраснейших радостей – утром выходить из подвала и дышать воздухом – иду, как на пружинах, великолепно чувствую своё тело, пою, как негр, гимны всем своим мышцам и наполняюсь дичайшим восторгом жизни!»

А бессонницы были страшные. Иногда ночью часа в три-четыре я выходил из своего подвала абсолютно голый и стоял минут пять на двадцатиградусном морозе, чтобы, замёрзнув, постараться уснуть в сыром и уютном тепле. Иногда это удавалось.

И ещё два отрывка из подвального дневника:

1) «4. 02. 64 г. Ох, что-то скверно – хоть в петлю лезь. До сих пор не научился находить причины депрессий и отчаяния. Мой единственный способ очищения – работа – как всегда, правильный, но до чего я устал работать «по необходимости», чтобы снова обрести «нормальность»! Надоело! Всё надоело! Больше всего – нищета, поиски жратвы, невозможность полнейшей отдачи из-за беспросветной бездарности и фальши окружающего. Александр Блок стелет по поводу «черноты», «ночного периода» перехода от одной золотой эпохи к другой! Это начало века он называет «чёрным»? Жалуется на реакцию!!! Господи! А что же нам остаётся?! Если **ложь** возвели на пьедестал, сделали государственным **идолом** и каждую секунду, каждую минуту, каждый момент приносят этому гнусному **истукану** – собственному отражению – жалкие, ни к чему уже не способные, насквозь пропитанные **его** духом жертвы...».

2) «22. 02. 64 г. Вчера ночью заскочил к Чудакову, и в каком же восторге я возвращался домой! Я счастлив, что могу завидовать только мертвецам, иначе от зависти давно бы превратил Чудакова в труп. Приехал к нему в час ночи – я не могу даже сказать, с какой радостью я снова оглядывал его невозможно-нестерпимо-мифически грязную и разворошенную комнату, его самого – такого же грязного, лохматого, ужасно одетого – рот до ушей, глаза сверкают, небритый; захлёбываясь, пьёт из блюдечка свой чай и изрекает гениальные афоризмы и скабрёзности! Поистине русский и поистине великий! (Да простит мне Бог, если это ока-

жется преувеличением!) Как я не хотел уходить от него, и как приятно было видеть, что он польщён этим. Наконец он становится официальным – напечатали его рецензию на эфросовскую «Женитьбу» в ЦДТ, где о спектакле он говорит до неприличности мало, но довольно **заметно** и остро издевается над сов. бездарностью. Даже протащил антисоветский намёк – bravo! Все его заметят, но никто не признается. Сегодня разговаривал с Эфросом. Обещал взять в свой театр, но только после того, как возьмёт к себе «ребят», по отношению к которым у него есть обязательства. Детский окончательно решил бросить. А «ребят» не люблю – это у нас взаимно».

Как раз тогда Эфросу предложили стать главным режиссёром театра «Ленком», и он ушёл из Детского театра. У меня очень быстро закончился «эфросовский» период, но Анатолий Васильевич заразил меня на всю жизнь и, несомненно, спас меня от театра, потому что театр **без Эфроса** для меня тогда **театром** не был. В доказательство предлагаю ещё одну дневниковую запись того периода: «21.04.64. С театром плохо. Очень плохо. Заниматься тем, что я считаю маразмом, – просто противно. Наконец-то стал кое-что понимать! Идёт наступление по всем фронтам: прежде всего музыка. За последнее время не пропустил почти ни одного концерта – спасибо Люде Мамцовой. Прекрасные программы: Бах, Равель, Дебюсси, Стравинский, Форте, Прокофьев и проч.».

Тут я должен вклиниться небольшим рассказом о Людмиле Мамцовой и Володе Марковиче – алмаатинцах, благодаря которым началось моё «щенячье» прозрение. Мы учились в Педагогическом институте на разных факультетах – я на естественном, они на филфаке. На новогоднем вечере 1957 года (мне тогда было 17 лет) я пригласил Людмилу на вальс, и нам вручили приз за лучший танец. Я был тогда помешан на Лермонтове и, почти не переигрывая, изображал из себя гремучую смесь Печорина и Арбенина. Отец Марковича был профессор математики, а мать – профессор русской литературы, да к тому же академик. А у Мамцовой отец играл в джазе главного алма-атинского ресторана. В их-то компании я и получил пару язвительных замечаний по поводу моего тотального (за рамками школьной программы) невежества – «невежества юнца», как говорили древние китайцы. И я до конца своей жизни буду им благодарен за то, что именно «у них» я увидел себя со стороны и пришёл в несказанный ужас.

Но – вернёмся к дневнику. «Второй фронт – литература и философия: японцы, индусы («Веданта»), драма конца и начала века, читаю напечатанного на папиросной бумаге Камю... Может быть, дойду когда-нибудь до Канта! Ох, пора бы! Время идёт – послезавтра у нас со стариком Шекспиром день рождения. Ему – 400, а мне – 25! И, наконец, вовсю занимаюсь боксом. Правда, дома. Повесил грушу и уже чувствую поразительный скачок: иду по Москве, и хочется каждому прохожему дать по морде – всё время хожу, смотрю и примериваюсь».

Иногда ко мне в подвал приходил Лёня Виноградов и оставался у меня ночевать, т.е. мы выпивали, курили и болтали до утра, а в полдень звонили из автомата Брусиловскому, жившему совсем недалеко в Казарменном переулке, и в антикварном окружении своего жилья он иногда потчевал нас замечательным кофе с бутербродами.

Лёня и Миша жили тогда – тоже удивительное совпадение! – у Саши Юдина, получившего впоследствии, когда он стал актёром театра «На Малой Бронной», кличку «Лемур» за свою медлительность и полнейшую невозмутимость. Из-за него-то формально Алик Гинзбург и получил свой первый срок после нескольких выпусков знаменитого самиздатовского «Синтаксиса». Саша был родственником прекрасного художника Володи Вейсберга, ближайшего друга Алика Гинзбурга. И когда Саша – ленивый, как лемур, решил поступать в МГУ, Алик Гинзбург вызвался ему помочь – написать за него сочинение по литературе на вступительных экзаменах. Скорее всего, за Аликом была слежка, и ему, обвинив его в подделке документов, дали два года лагерей! У Чудакова есть даже одна строфа, посвящённая этому событию:

Приятеля сажают за подлог,

Но было бы неверным сожаление:
Всему виной – страдательный залог
И сослагательное наклонение.

Но вернёмся к Осетинскому: «Ирэну Симон, мою невесту, референта военного атташе в России, удивительную женщину – выслали как шпионку...»

Я прекрасно помню Ирэну, поскольку в то время часто общался с Осетинским, – она была типичная француженка: не красавица, но изящная, симпатичная, сдержанная и очень умная, и, хотя внешне она совершенно не соответствовала военному направлению своей деятельности, у всей нашей компании не было никаких сомнений, что её выслали «за дело». Через два дня после предыдущей дневниковой записи я устроил у себя в подвале празднование своего двадцатипятилетия. Не знаю, каким образом у меня составила именно такая компания, – возможно, кого-то не было в Москве, но знаю точно, что Осетинского с Чудаковым я бы никогда не стал «сводить». Скорее всего всё дело было в Ирэн – она принесла всяких чудес из «Берёзки», и к тому же – француженка, дипломатка!

Были мои близкие друзья – Динара, мой ближайший друг по сей день Стас Шлюгер, у которого я довольно долго жил в Измайлове на Третьей Парковой – с романтической болтовнёй, выпивкой и курением до четырёх часов утра; лучшая подруга Динары актриса Ариадна Шенгелая и её очень странный ухажёр – Саша Шагинян, милый человек, но бескорыстный, патологический врун. Поначалу мы верили всем его историям, хотя почти каждая опровергала другую, но очень скоро стали относиться к нему весело и снисходительно. Он был мастер спорта по боксу, чемпион Москвы, несколько лет прожил «нелегалом» в Иране, выполняя какую-то почти невыполнимую разведывательную миссию, стрелял на голос в полной темноте, добывал золото, алмазы, был прямым наследником Мариэтты Шагинян, писал гениальные пьесы, которые ставил в каких-то городах (часто в самых разных одновременно).

Поначалу всё было празднично и весело – Олег Осетинский с Ирэн подарили мне уникальную американскую джазовую пластинку – чудное трио Билла Эванса – фортепьяно, контрабас и ударник. Но самым большим подарком для всех нас была принесённая Ирэн первая пластинка Битлов, которую мы тогда слышали. На самом деле это был второй их диск «With The Beatles» с самыми знаменитыми и, пожалуй, самыми лучшими их песнями. О Битлах даже мы тогда ничего не знали, хотя у Стаса Шлюгера была громадная коллекция джаза и рока, и он пытался «писать» по ночам музыку с приёмника. Возможно, мы были одними из первых слушателей Битлов в Москве, так же как два года назад мы с Мишей Николадзе оказались первыми обладателями пластинки «West Side Story», подаренной Мише Баланчиным.

Как всегда, Осетинский стал «самым главным» за нашим столом, что совсем не понравилось Саше Шагиняну – мастеру спорта по боксу, чемпиону Москвы и суперагенту, стреляющему в крошечной тьме «на голос», и он в какой-то момент очень эффектно плеснул из стакана водку в лицо Осетинскому. Шагинян был здоров как бык, раза в полтора больше Осетинского, и в тот момент, распустив хвост перед своей любимой, поверил на сто процентов во все свои легенды. Саша сидел спиной к стене, их с Олегом разделял стол, и Осетинский, как разъярённый вепрь, прыгнул на стол и на глазах у всех со страшной силой и скоростью стал молотить кулаками по широкому лицу Шагиняна. Тот кое-как вывернулся и, перевернув стол, побежал в коридор, но Осетинский догнал его и, прижав к стене, продолжал плющить ему лицо. Мы с трудом оттащили Осетинского от Шагиняна, и я очень редко потом видел на лицах людей такой огромный **животный** страх, какой был на окровавленном и смертельно-белом лице Шагиняна. Пока мы со Стасом держали Осетинского, наши женщины спрятали Шагиняна у соседки по подвалу, и он так там и оставался, пока Осетинский с Ирэн не ушли. К моему счастью, они оставили пластинку Битлов у меня, и я молил Бога, чтобы они не сразу спохватились и дали мне понаслаждаться новой и необыкновенной музыкой. Два пластинка оста-

валась у меня, и я нещадно крутил её на своём советском проигрывателе и даже записал слова песни «Till There Was You», но на третий день Осетинский пришёл с очередной девицей и пластинку забрал.

Чуть раньше я цитировал Осетинского, где он называл Бориса Львова-Анохина «великим». Дело в том, что все, с кем приходилось Осетинскому работать или иметь какое-то общее дело, были «бездари» и «ничтожества», а с кем не приходилось – гении. Вот моя запись из дневника от 5 марта 1964 года: «Смотрели с Чудаковым «Материнское поле» Львова-Анохина. Боже, какое дурновкусие! Хотя иногда – первый акт – появляются актёрские вспышки. Это, вероятно, необходимые случайности дурного вкуса... Неужели мне придётся с ним работать? Но зато он лучше Колесаева. Но насколько ниже Эфроса! Последнему, правда, с его самоуверенностью и талантом надо бы быть более глубоким, не то он может стать однообразным. Ну да Бог с ним. После спектакля поехали в мой подвал. Из Чудакова: «Мы сможем лет через десять восстановить русскую культуру. Новое не создадим, но восстановить – восстановим!» Он сварил бездарнейший кофе – мы хлебали это пойло и пытались очиститься от анохинской скверны. Слушали Баха». Тут я, честно говоря, недалеко ушёл от Осетинского. Насчёт актёрских вспышек: мать в спектакле играла большая актриса Любовь Добржанская. По поводу Эфроса – конечно, сказано самонадеянно, с затаённой обидой на то, что он не взял меня в театр, хотя в какой-то степени и справедливо – все актёры у него в театре играли и говорили «под него», но на качестве его *тех* почти великих спектаклей это не отражалось. Каждый из них был настоящим взрывом для тогдашней Москвы.

Боже, какой был спектакль «Снимается кино»! Мы его смотрели вместе с Виноградовым и, ошеломлённые, вышли в фойе. И вдруг раздался очень знакомый – пронзительный и хриплый крик Осетинского: «Пьеса – говно! Режиссёр – говно! Актёры – говно!» А в своей книге он пишет: «Ближе всех мне был, пожалуй, Толя Эфрос, деликатнейший и благороднейший, художник подлинный! Иногда он озвучивал свои спектакли моими пластинками. Иногда он устраивал последнюю генеральную специально для нас с Чудаковым. Садился сзади нас и слушал наши беспощадности. После премьеры «Снимается кино» мы со Смоктуновским пошли к нему домой, туда, рядом с Домом кино» (стр 44). Гм-гм... Пластинками Осетинского Эфрос на самом деле озвучивал спектакли, а вот насчёт последних генеральных Осетинский подвирает, потому что последние генеральные *всегда* игрались при полных залах – для «пап и мам», для друзей и актёров из других театров. Но на репетициях и он, и Чудаков, и даже я бывали очень часто. А Олегу я очень благодарен за то, что он открыл мне Брассанса и Жюльет Греко.

Как раз в то время Львов-Анохин посылал в Центральный детский театр своего эмиссара на переговоры со мной. Это был откровенно гомосексуального вида и поведения молодой режиссёр чуть старше меня, проходивший «практику» у Львова-Анохина в театре Станиславского. Он появлялся несколько раз и уговаривал меня перейти к ним в театр, суля главные роли и золотые горы. К моему несчастью, меня никто не предупредил, что Львов-Анохин принадлежал как раз к этой категории в то время **явного** секс-меньшинства, да к тому же, как потом оказалось, Борис Александрович ещё и «немножечко в меня влюбился». Поверив в обещанные главные роли, я всё-таки перешёл в его театр, но в очень неудобном, неприятном и абсолютно незащищённом статусе – на временном договоре. Но очень скоро я узнал, почему мой договор был временным: когда Анохин вызывал меня в кабинет, он краснел, бледнел, заикался и иногда поглаживал меня по плечу.

Театр меня с первого дня, что называется, не принял, а я не смел огрызаться, так как был на птичьих правах. Мне дали роль в детской японской сказке – главную! Пьесу ставил тот самый молодой человек, уговоривший меня перейти в театр Станиславского. И тут начались мои муки, которые не могли сравниться даже с колесаевскими в ЦДТ! Этот режиссёр с гомосексуальной педантичностью требовал точнейшего повторения не только каждой мизансцены, но и каждого движения руками, пальцами, глазами и даже ресницами! И это всё называлось

«японской церемонией»! Что приводило меня в бешенство – я к тому времени посмотрел с помощью Чудакова (и без) все доступные фильмы Куросавы, взхлёб прочитал Акутагаву, раза три смотрел «Голый остров» и т.д.! А всё действие происходило в нищей семье японского дровосека, которого играл я, и его жены, которую играла Лида Савченко – прекрасная, тонкая актриса. И мой режиссёр, и мой главный режиссёр «великий Боря Львов-Анохин» довольно быстро разобрались в моей несокрушимой гетеросексуальности и потеряли ко мне всяческий интерес. Я же, полный идиот, решил всё-таки доказать и театру, и режиссёру, и актёрам, что я чего-то стою, и потерял на этом почти два года.

К несчастью, на меня посыпались новые бытовые неприятности. Однажды в мой подвал на Чернышевского заглянул инженер местного ЖЭКа, который и сдал мне этот подвал за какие-то деньги, и я увидел на его лице удивление и жадный блеск в глазах – всего год назад здесь было абсолютно нежилое помещение! И через неделю он меня из этого подвала выставил на улицу! А это было начало ноября 1964 года.

И снова пришлось жить какое-то время у Чудакова. Помню мой первый ему звонок. «Шери! Ключ будет на месте – к двенадцати я выставлю даму, а приду часам к двум. Располагайся!» И когда я вошёл в комнату, я был тронут чуть не до слёз: на столе стояла наполовину полная бутылка вина, а под ней какая-то смешная записка.

Как раз в это время я познакомился в Ленинской библиотеке с очаровательной журналисткой Н., помешанной на стихах, живописи, и подругой всех подпольных поэтов и художников Москвы 60-х годов. Правда, у многих из них я уже был с Чудаковым и теперь «проходил» по второму кругу – Юло Соостер, Вася Ситников, Саша Харитонов, Эдик Штейнберг, коллекционер Нутович и, наконец, мой любимый Олег Целков. Прелестная Н., к сожалению, была ещё более неприспособлена к бытовой стороне жизни, чем я, – она жила за городом с матерью и маленьким ребёнком и моталась по Москве в поисках случайных заработков. Поэтому я срочно бросился на поиски комнаты.

Вот отрывок из письма того времени: «11/11–64 г. ...Наконец-то я более или менее устроен – снял неплохую комнату недалеко от центра за 30 рублей в месяц. В квартире живём вдвоём – я и хозяин. Думаю, что проживу здесь до тех пор, пока не куплю себе собственную квартиру. В остальном всё хорошо. С завтрашнего дня приступаю к работе над новой ролью – репетиции днём и вечером, каждый день. Роль неплохая, в общем, буду занят, а это главное».

Господи! Как же я был наивен! Мне и тут чудовищно не повезло. Мой хозяин был профессиональный артист «миманса» Большого театра, никаких отклонений в его характере, словах, отношении ко мне я не то что не заметил, а, наоборот, он мне показался вполне «своим в доску», и на третий день жизни у него я привёл к себе свою чудную Н. и остался с ней на ночь. А на следующий день, вернее, на следующую ночь – было около двух часов, – когда мы подошли к своей двери, она оказалась запертой, а на пороге стоял чемодан с моими вещами. Я молотил в дверь несколько минут, убеждал его впустить нас на последнюю ночь (на улице уже был мороз градусов в десять), а он вопил изнутри, что вызовет милицию. Я был в ярости и отчаянии – громить дверь, бить окна я не мог – у меня с ним не было никакого официального договора, и он мог выдать нас за грабителей. Пришлось нам кое-как добираться на Курский вокзал, откуда Н. уехала к себе домой на первой электричке, а я, по старой памяти выпавшись в вагоне на кольцевой линии метро, отправился в «Националь», а оттуда, как водится, вернулся к Серёже Чудакову. По всей вероятности, у артиста «миманса», как и у Львова-Анохина, всё-таки были на меня далеко идущие планы. Как потом сказал Чудаков в стихах: «Любой мужчина тайный пед».

Вот ещё замечательная запись в дневнике: «19/11–64 г. Два дня хожу счастливый! Вот факт, полностью характеризующий нашу прескверную, гнусную действительность! Два дня назад случайно в комиссионке купил хорошие американские ботинки, и, несмотря на то, что потратил на них почти всю зарплату, несмотря на то, что две недели нечего будет жрать или

придётся влезать в долги, я счастлив – мои ноги в тепле, не промокают и прекрасно выглядят. А целую неделю перед покупкой я приходил домой и выжимал носки! Старые туфли никуда не годились. There's Glory for you!»

С моей славной Н. мне никак не хотелось идти к Чудакову, и тут – и по моей, и по её – глупости, неумению, небрежности, лени, безразличию – всё, что угодно! – она натывается на какую-то знакомую, которая говорит, что у её соседей есть комната, но эту комнату надо отапливать печкой. Мы приезжаем на электричке в Кратово, идём от станции кварталов пять-шесть и находим частный домишко, в котором и находится эта комната. Нам говорят, что у них нет дров. Я говорю – это ерунда! (Почему – не знаю.) – Но эта комната очень холодная, – предупреждают нас, – и если зима будет морозная, то жить в ней будет невозможно! Я, доведённый до полного отчаяния бездомьем, желанием поскорее где-то устроиться с любимой девушкой, заявляю: я на всё согласен и готов платить за вашу комнату аж 15 рублей в месяц! Они, подумав, соглашаются, но ещё раз повторяют, что они нас обо всём предупредили! Моя Н., слава Богу, оказалась совсем неприхотливой интеллектуалкой – главное для неё было наличие сигарет и разговоров об Искусстве! Ну и, конечно, бесконечное занятие любовью. Для начала нашей жизни хозяева выдали нам штук пятнадцать берёзовых поленьев, и когда я в первый раз вышел в полной темноте за ними во двор, то увидел, что стена нашей комнаты дырявая и свет в нескольких местах проходит сквозь эти дырки.

И начались мои новые испытания. Спектакли в театре заканчивались часов в 10–11, потом, как обычно, мы шли в ресторан ВТО и на последней электричке ехали в Кратово. По дороге от станции я, по возможности, воровал дрова – по два-три полена, и приходил к дому с хорошей охапкой, но этого всегда не хватало, и я был вынужден глубокой ночью идти на охоту за дровами. Жизнь была поистине суровая – в нашу комнату мы входили в половине второго или в два ночи, я ставил пластинку на мой проигрыватель – либо джаз, либо Баха, либо Фрэнка Синатру, чьи песни я уже почти все знал наизусть, и начинал растапливать печь. Моя прелестная и мужественная Н., не раздеваясь, читала стихи Серебряного века, мы пили чай, философствовали и ждали, когда наша комната нагреется. Зима, к несчастью, была очень холодная – на столе утром лопались недопитые бутылки с кефиром или молоком. Часам к трём становилось очень дымно, но и более или менее тепло, да мы ещё грелись друг другом на узеньком диване, который нас буквально заставлял каждую ночь заниматься любовью. Вставать приходилось часов в девять и тут же бежать на станцию – к 11 часам я должен был быть в театре. На репетициях я клевал носом от недосыпания, недоедания, борьбы с холодом и от почти полного сексуального истощения. Моя очаровательная Н. оказалась ненасытной любовницей, и через два месяца жизни в Кратове я превратился в полуживой полутруп.

Когда я снимался с итальянцами в фильме «Они шли на восток», наши автобусы однажды остановились на центральной площади города Полтавы у райкома партии прямо напротив громадной Доски почёта, и все итальянцы возбуждённо и с беспокойством загалдели по-итальянски: «Это мёртвые, мёртвые?!» Я вспомнил эту сцену той суровой кратовской зимой, когда однажды в дикий мороз я вышел один из электрички и увидел на площади перед вокзалом довольно внушительную Доску почёта с большими фотографиями и, главное, с хорошими досками, на которые эти фотографии были прибиты. Мороз был около 25 градусов, на площади не было ни души, одна «нога» этого сооружения каким-то образом была уже подломлена, а я прекрасно знал, что у меня дома нет ни одного полена. Я как следует надавил плечом на вторую «ногу», она легко сломалась, и, взвалив всю эту махину на плечи, я протащил её на себе все пять кварталов, а потом во дворе раскурочивал и разрубал эти доски по размерам моей ненасытной печки. Зато после этого весело, под джазовую музыку, я кормил свою печь лучшими трудящимися Кратова, и это всё походило на ритуал жертвоприношения или на торжественное поедание печени врага.

Когда я почувствовал, что вот-вот сдохну, я уговорил любвеобильную Н. пожить несколько дней со своей семьёй и этим спас себе жизнь.

«21.1.65 г. Сегодня заканчивается или почти закончился мой «печной» период – более жуткого, захватывающего и жестокого времени у меня никогда не было (несколько похоже на Ольгино, но там было веселее). За 15 рублей я снял комнату здесь, в Кратово, – сейчас, наверное, это мой предпоследний вечер перед печкой – сижу вот, слушаю музыку, топлю грязную дымную печь и пишу. Комната страшная, не описать. Попробую нарисовать. Так вот. Стены в комнате дырявые и обшарпанные. Холод дикий. Печь дымит. Сначала – я живу здесь уже два месяца – не было дров. Воровал у соседей, ломал заборы. Жизнь жуткая и суровая. Два часа, пока растапливаю печь, читаю, занимаюсь English'ем, и проч. Итак, сегодня всё это кончается. Кончилось. Буду жить ещё два дня, но... Сегодня утром получил зарплату – 5 р. 59 коп. Из-за двух бюллетеней. А вечером – новость. Меня в феврале отправляют в Италию. Сниматься. Я – Тристан. Что это – начало? Или какое-то завершение? П О С М О Т Р И М. И ещё – всё время подтверждается: «За всё надо платить. И сполна».

V

Здесь я упомянул Ольгино – небольшую станцию под Ленинградом, где мы с моим другом – художником Виталием (Кидом) Кубасовым – тогда студентом курса Н. П. Акимова – провели суровую зиму на летней фанерной даче в 1960 году. У нас тоже была печка – огромная, круглая, несдвигаемая чугунная болванка, – её украли, наверное, с какого-то предприятия. У нас, слава Богу, были дрова, и когда мы её растапливали, она накалялась малиновым цветом, и мы от этого жара даже загорали. Но к утру у нас, как и в Кратове, лопались бутылки с молоком, вода замерзала и корбила вёдра. Но самым весёлым было то, что на тепло сходились здоровенные крысы – иногда около десятка – и рассаживались вокруг печки. Нас они не боялись – мы иногда их подкармливали и придумывали им имена. А ночью они спокойно ходили то по мне, то по Киду (т. е. по одеялам и курткам, которыми мы накрывались с головой), и пару раз я просыпался от ужаса и отвращения, когда крыса ползла прямо по мне! В конце концов крысы сообразили, что нас лучше не трогать, и мы с Кидом с ними смирились. Мешок с продуктами (рис и макароны) мы подвешивали к лампочке, висевшей на крепких скрученных проводах, и каждую ночь мы просыпались раз по пять от гулко-го «шмяканья» с лёгким повизгиванием – крысы забирались по проводке на потолок и, прыгая сверху на мешок, промахивались и падали на пол.

Тут я снова хочу вернуться к моим друзьям – «Коммунистической бригаде имени Бунюэля». Воспоминания об Ольгине и Ленинграде 59, 60-го и 61-го годов вызвали во мне ностальгическую тоску, и в который раз я убеждаюсь в точности древнекитайской поговорки: «Подобное притягивается подобным». Я учился в Театральном институте на Моховой, мой мастер – Татьяна Григорьевна Сойникова – жила на ул. Петра Лаврова (ныне и прежде – Фурштаттская) – почти напротив дома, где жил Володя Уфлянд, и я десятки раз провожал её домой мимо уфляндовских ворот. Но и сам Уфлянд в то время работал у нас в театральном институте рабочим сцены, готовил для всех наших учебных спектаклей декорации и видел наши репетиции и прогоны! Десятки раз я проходил мимо дома, где жили братья Виноградовы – Лёня и Олег, – и даже запомнил, как мой сокурсник Серёжа Дрейден говорил о них как о каких-то небожителях. В 60-м году на курс Н. П. Акимова приехал из Москвы Миша Кулаков, а на этом же курсе у меня были самые близкие тогдашние друзья – Юрий Дышленко и Кид Кубасов, которые тут же подружились с Кулаковым и попали под мощное влияние «агрессивного абстракциониста». Кулаков тогда смотрел на всех нас как на букашек – ну как же! Он – «ташист»! Последователь Джексона Поллака, Жоржа Матье, абстракционистов-экспрессионистов! Он был «мефистофельски» красив, старше нас всех лет на пять, наглый, агрессивный, и все, даже сам Николай Павлович Акимов, слегка перед ним робели. К тому же он «играл» в жизни героя пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе» – Джимми Портера – того самого, на которого я потом пробовался в «Современнике», но Кулаков играл его очень плохо, по-любительски, и на меня его наигранная свирепость почти никак не действовала. Но многих, в том числе Кида Кубасова, он просто терроризировал. Он вдруг начинал цепляться к какому-нибудь слову, жесту или позе человека и, распаляясь и доводя самого себя до истерики, ввергал несчастного собеседника в кромешный ужас. Мы все жили тогда под Ленинградом в посёлке станции Левашово и единственную улицу называли «Бульваром молодых дарований». Я снимал чердак, Кубасов – комнату, а Кулаков целый дом, правда, небольшой, но стены внутри дома были сломаны, и в середине торчала довольно большая печь. По стенам висели его абстрактные работы, написанные эмалью, и каждый посетитель обязан был всё время ими восторгаться. Пару раз Кулаков попробовал цепляться ко мне, – я поначалу отшучивался, а потом огрызнулся почти в его же манере. Кулаков долго и пристально смотрел на меня и наконец сказал: «А ты можешь убить!» Я не стал его разубеждать. Потом, уже в Москве, мы подружились, и он даже написал маслом

мой портрет, причём очень неплохой, но у меня украли его в 1967 году вместе со всеми моими вещами.

Однажды в институте на Моховой на столе для писем я увидел записку от Кида: «Немедленно приходи на Моховую 42, кв. такая-то». Дом был в ста метрах от института, и когда я позвонил в указанную квартиру, дверь мне открыла голая девица и спокойно проводила в комнату. Я попал в большую четырёхкомнатную квартиру, где было много незнакомого народа. Из знакомых – Кулаков, Кубасов и известная в Ленинграде натурщица Соня или Софа – точно не помню. Из новых – знаменитый тогда по песням «Фонарики» и «На диване» Глеб Горбовский – кудрявый, шустрый и уже прилично пьяный, Саша Кондратов, о котором я уже много слышал и читал его смешные и странные стихи, и ещё несколько полуголых и полупьяных девиц. Денег не было ни у кого, и я оказался свидетелем смешной и жутковатой картины – ребята купили целую упаковку «Хинного экстракта» – хину, настоящую на чистом спирте (19 коп. за бутылку в 250 г), и после нескольких безуспешных попыток хоть как-то отфильтровать хину остановились на очень неприятном процессе – одним махом кто-нибудь выпивал полстакана экстракта и пытался как можно дольше продержаться всё это в себе, но всё равно секунд через пять-десять мчался в туалет и там выворачивал желудок в унитаз со слезами, воплями и кашлем. Потом, отдышавшись, слегка опьянев и чуть подзабыв свои муки, всё повторял снова. Я не осмелился на такой эксперимент, хотя на целине приходилось пить и «Шипр», и тройной одеколон. Вот в таком виде в первый и последний раз я увидел и запомнил знаменитого тогда Глеба Горбовского, чьи песни мы пели почти каждый вечер в общежитии на улице Опочинина. Кулаков и Кубасов тогда очень дружили с Горбовским и Кондратовым, который чем-то (блондин, кудрявый, молодой) напоминал мне Есенина. А в 1969 году, когда мы – я, Миша Ерёмин, Лёня Виноградов и Володя Уфлянд – были уже близкими друзьями, Горбовский посвятил им вот такие стихи:

Ребятам по эпохе —
Уфлянду, Ерёмину и Виноградову.

По проспектам
ходили парни,
расхаживали друг друга...
Большинство из парней —
бездарные,
каждый третий —
пёс или сука...
А меж них – сновали неведомые,
неразгаданные,
другие...
И – почти что все
были преданы...
Хорошо,
что были —
такие!
Эти люди вежливо мучились...
Эти люди – эпоху строили...
...Эти люди были,
как случаи,
и пожалуй —
были героями!

Стихи получились почти комсомольские: одни – кто бездарный и расхолаживал, походили на стилияг и фарцовщиков, а другие – неведомые, неразгаданные и преданные – сновали между ними и тоже походили на стилияг, но при этом вежливо мучились и каким-то образом строили эпоху. Не случайно Горбовский в конце концов стал секретарём Союза писателей Ленинграда, хотя поэт он от Бога – вот пример:

В час есенинский и синий
я повешусь
на осине...
Не Иуда,
не предатель, —
на осине,
в Ленинграде,
под окном у комитета...

Что мне сделают
за это?!

Что же касается «ребят по эпохе», – никто из них не чувствовал себя ни преданным, ни обиженным. Никого смешливее Уфлянда я в жизни не видел (правда, очень смешливым был ещё Бродский), а Виноградов, который смешил меня до слёз, всегда мне говорил, что, когда я смеюсь, я очень похожу на Уфлянда. «Вежливо мучился» один только Миша Ерёмин из-за своей больной ноги, но никогда никто этого не замечал, а Миша во времена нашей бурной молодости всегда первый вызывался «сгонять» за водкой, и никто его особенно не останавливал.

Но вернёмся в Москву начала 1965 года. Спасла меня от полного истощения и любвеобильной Н. всё та же моя верная подруга Динара. Она как-то встретила меня и ахнула – такой я был страшный. Немедленно поехала со мной в Кратово, собрала мои вещи и вывезла меня сначала к себе, а потом в подвал на Фурманский, дом 9. Как она его нашла, как сговорилась с уборщицей-алкоголичкой Любкой – я не знаю. Вот письмо маме, написанное в конце января 1965 года: «...У меня всё по-прежнему – по-прежнему нет квартиры, по-прежнему нет денег и по-прежнему всё идёт хорошо в смысле работы, развлечений и проч. Живу сейчас в подвале недалеко от центра – подвал очень маленький, но уютный. Динка по утрам готовит мне манную кашу, я наедаюсь и ещё сплю часа полтора, а потом иду на работу. С Динарой мы друзья. Она моя экономка и моя домоправительница. В таком качестве она меня вполне устраивает. Сегодня прилетел из Ленинграда, снимался и жил там три дня. Там холодно. Здесь холодно. У вас, наверное, тепло. Ужасно хочу слетать к вам дня на три-четыре. Но – деньги! У меня сейчас абсолютно безвыходное положение. Может, ты сможешь найти рублей 30, а? Если сможешь, вышли их мне, пожалуйста, как только получишь письмо, телеграфом? Как только вырвусь из нищеты, вышлю обратно. А, кажется, всё идёт к тому, что вырвусь. Просто я сейчас крепко дошёл, и мне надо обязательно каждый день хорошенько есть. Теперь о прожестках и возможностях. Самое интересное – одна итальянская кинофирма пригласила меня сниматься в Италии в фильме «Тристан и Изольда», играть роль Тристана. Надо ехать туда на три-четыре месяца. Госкомитет кинематографии дал согласие. Театр отпустил. Сейчас оформляется виза. Если меня отпустят, то через 10–15 дней я должен буду лететь в Рим. Съёмки в Италии и Югославии. Поэтому мне нужно прийти в форму – а вдруг выйдет? А я отощал до неприличия».

Визу, как ни странно, мне оформили. Когда через полгода я поехал на съёмки в Румынию, в моём паспорте была виза в Италию сроком на четыре месяца и виза в Югославию на два месяца, но обе были перечёркнуты, и на них стоял штамп «Аннулировано». Так что *ОНИ там, наверху* передумали в самый последний момент, будь они неладны. Хотя логика у них, конечно, была очень простая: мне совершенно нечего было терять. Но подумать о том, что если бы они меня выпустили, то, вернувшись, я смог бы купить и квартиру, и машину, да и положение моё в моей профессии упрочилось бы – это, извините, не для них. Но всё дело, конечно, было только в моём полтавском «откровении».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.